

Ирина Дудина

Нежные и надломленные



18+

Ирина Дудина

Нежные и надломленные

«ЛитРес: Самиздат»

2012

Дудина И.

Нежные и надломленные / И. Дудина — «ЛитРес: Самиздат»,
2012

«Нежные и надломленные» пытается понять, что происходило с женщинами на стыке девяностых и нулевых. Все они мечтают о счастье на своей «Счастливой улице», и все они получают то, что хотели. Одна героиня получает богатство, другая интеллектуального мужа, третья горячую любовь, но, увы, не взаимную любовь к себе нелюбимого человека. Перед лицом сбывшейся, но как то однобоко сбывшейся мечты, словно порченной нечистой хитрой силой, надломились и сломались все. Сломались все женщины и все мужчины романа. Сломалась вся страна в условиях новых правил игры и новых невнятных целей и парадигм. Тотальный слом людей, которые считали себя прекрасными, нежными, умными, добрыми... И самая тяжёлая и старшая из женщин — не сумевшая выстроить свою личную жизнь и семью, живущая подобно вампирам Мамлеева, питающимся кровью своих ближних, но словно прислушивающаяся всегда к далёкому голосу Всеобщего, именно она вдруг «сломалась» в «хорошую» сторону, призывая к доброму и хорошему...

© Дудина И., 2012
© ЛитРес: Самиздат, 2012

Содержание

Часть 1	5
Женщины в хрущёвках	5
Рояль на помойке	5
Наша Счастливая улица	7
У Антонины	8
Ася Шемшакова	10
Про себя	11
Семья солипсистов	13
Бытовая война	16
Роман с Фокиным	19
О бритье ног.	20
Как раньше жила Антонина	21
У Антонины	22
Отъезд	23
Посещение китайского ресторана	24
В доме Набокова	26
Паломница	26
Часть 2.	29
Вениамин	29
Ещё одна подружка – Тина	29
Летний вечерок	30
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Часть 1

Женщины в хрущёвках

Рояль на помойке

Я выносила на помойку нашу на Счастливой улице очередную порцию отбросов. Сгорбившись маленьким гномом, взвалив на спину мешок ростом с себя, кряхтя, я несла свой тяжкий крест – ибо... Ибо крестом моим по жизни было вынесение хлама из закровов родины моей матушки. Она сносила дерьмо с помоек в дом уже лет двадцать – я его выносила при каждом удобном случае. Её сил было больше... Говорят – Сизифов труд, муки Тантала, Авгиевы конюшни, подвиг Геракла! Ерунда всё это. Я что-то там нагадила когда-то в бессознательном прошлом, что-то недоубирала – и вот расплата – убираю и убираю, убираю и убираю, без конца и края сношу мусор на круги своя...

У переполненного, вспученного бака лежали останки порушенного рояля. Почти все части тела его были на месте. Кто-то унёс клавиши и треугольную крышку. Клавиши, видно, были самым дорогим – из слоновьей кости, наверное. Их можно было продать. Остальное, непродажное и никому ненужное, в раздербаненном виде стояло у бачков.

Я воскликнула: «Ничего себе!!! Надо брать!!!» и не могла удержаться от брэнчания по струнам перевёрнутого рояльного светлого брюха. Рояль походил чем-то на ладонь негра. Сверху – чёрное, снизу – светлое. Потревоженные струны великолепно запели. Так поёт и шелестит свежими листьями своими только что срубленная в мае берёза. До неё не дошло ещё, что она безнадежно мертва.

Встретившаяся соседка Антонина, немолодая пышная блондинка в черных легинсах и обтягивающей пепельно-розовой кофточке, оттенявшей её красоту, чрезвычайно возбудилась от моего рассказа о находке на помойке. «Иди за инструментом, а я покараулю. Надо брать. А то бомжи растащат. Позвони Аське, пусть поможет». Я ничего рационально объяснить не могла, но чувствовала сердцем, что это – правда. Что почему-то «надо брать». Зачем? На какой ляд? Это была лирика. Правдой жизни было то, что необходимо почему-то опередить бомжей и разобрать рояль на маленькие, поддающиеся переноске детали как можно скорее.

Через 10 минут я несла топор в одной руке, молоток, клещи и гвоздодёр в другой. Встречавшиеся на пути аборигены кивали мне благосклонно. Им нравилось, что у кого-то деловой вид.

«Поделим всё на троих», – сказала Антонина. О, эта фраза для русского человека была больше чем фраза. Это было что-то глубинное, жгущее нутро, как глоток свободы. Да, на троих обычно делиться бутылка водки. Почему-то вдвоём или вчетвером распивать не так кайфово. Весь кайф был именно в том, что «на троих». Если один ослабеет умом – другой заменит затихшего товарища. А как приятны споры втроём! Двое говорят – один слушает. Двое спорят – третий судит. Всегда можно поиметь роль выступающего, или возражающего, или зрителя (судьи). Тезис, антитезис и синтез. Да, русские – прирождённые гегельянцы. Вицын, Моргунов и Никулин – центральные фигуры массового русского советского сознания.

Вскоре, действительно, подросла Ася, молодая женщина примерно 26-ти лет из соседнего подъезда. В руках у неё был какой-то сухой корм – типа солёных палочек, который она беспрерывно поедала, несмотря на страшную вонь от переполненных баков. Впервые я подумала, что она чем-то походит на гарпию.

Сначала метким ударом молотка удалось отделить ножки и доску от клавиатуры. Это будет компьютерный столик. Палка с молоточками должна была послужить позвоночником для какого-нибудь дизайнерского объекта, украшающего жизнь.

Антонина осталась на стрёме отгонять бомжей, мы с Асей, покряхтывая, поволокли добытое по квартирам, с трудом соображая – зачем это? Но спектакль начался, и покинуть сцену было невозможно, пока не опустят занавес. Соседи на скамейках – кумушки и дудунушки – возбуждённо смотрели на нас, переглядывались с утвердительным видом, когда мы сообщили им, что «это для перформанса». Кумушки и дудунушки даже как бы одобрительно закивали, утверждая «добро» по поводу начала раздербанивания рояля на маленькие детальки.

Когда мы вернулись, ящик со струнами уже стоял на боку, подпёртый стальным прутком. Антонина с видом хищной птицы готовилась склонуть прекрасную струну. «Как вам это удалось?», – изумилась я, указывая на ящик чудовищного веса, установленный кем-то вертикально. Он состоял из деревянного резонатора и намертво привинченной к нему чугунной литой решётки. На ней были натянуты крест-накрест струны, как бинтовые повязки на раненом в грудь.

Рядом с помойкой стоял новый «Опель». В нём собирался на что-то давить холёный его хозяин. Антонина кокетливо указала глазами на него, как на того клиента, которого ей удалось вписать при помощи своих чар в труд по восстановлению рояля с земли.

«Ну что ж, теперь можно браться за струны», – произнесла она с видом мясника, разделяющего пласт за пластом окровавленную тушу.

Сначала она взяла в руки топорик. Но не тут-то было. Струны, расположенные по три сразу, пружинили с дразнящим звуком, топорик отскакивал, как резиновый. Потом она попыталась при помощи клещей снять петлю на конце туго натянутой струны со штырька. Из этого ничего не получалось. Ася продолжала что-то поедать из пакетов, кажется, она уже взялась за сырые шпикачки. Наконец, одна из струн поддалась на уговоры стамески. Она с жалобным криком оторвалась, и даже её петля на другом конце легко сорвалась с родного штырька, вокруг которого так верно она обвивалась.

Антонина воодушевилась, полезла в нутро толстых струн, обвитых для басистости спиралевидно медной проволокой. Но всё оказалось сложнее. Толстые струны отказывались наотрез. При этом они басисто звучали, загадочно так, будто увеличили звуки из жизни насекомых – какой-то треск и растирающий звук по ребристости гигантски увеличенных жёстких крыльев, принадлежащих какому-нибудь чёрному жуку-рогачу.

Мимо шёл красивый молодой человек с беличьим лицом и тонким хвостиком тёмно-русых волос на затылке. Он с вежливой улыбкой остановил свой бытовой бег, чтобы насладиться загадочным звучанием перевёрнутого рояльного нутра. Антонина сменила очень быстро вид заливчатского юноши-мастерового, который напустила на себя для задора, на страдания неумелой слабой женщины, занимающейся непосильным трудом.

– Молодой человек, не могли бы вы помочь?

– А зачем вам это? – спросил хитрый юноша. – Я музыкант и не могу заниматься таким варварством.

– Ну что вы, что вы, мы сами художники. Струны нам нужны для перформанса. Иначе они всё равно будут растасканы бомжами и сданы в металлолом, а так они будут спасены, им даруется новая жизнь...

Аргументы Антонины выглядели благородно. Мы с Асей даже переглянулись изумлённо. Ловкую она сочинила историю. На самом деле мы сами не знали, зачем нам струны. Зачем нам ноги рояля. Зачем его молоточный позвоночник. Просто почему-то хотелось это унести с собой. Хотя у меня, например, дома, стояло великолепное пианино. И зачем нужно было в дом нести останки умершего его родственника, вернее, не умершего, а зверски убитого – было неясно...

Музыкант ловко принялся за работу. У него получилось топориком. Каждая оторванная струна перед смертью громко кричала женским мелодичным голосом: «аааааааа», «аааааааааа» – в зависимости от своей длины и силы натяжения. От ударов топором сыпались оранжевые искры. Зрелище было фантастическое – красивые мужские руки, зверски вторгающиеся в располозованное нутро, искры, удары, стоны... Во время неудачного удара струна отлетела и впилась музыканту в руку, больно укусила его до крови. Кровь пролилась на землю, обогрела железо струн, олицетворяя собой что-то. Мечь умирающего рояля? Кровное родство инструмента и музыканта? Молодой человек бормотал и всхлипывал: «Боже мой, я ведь музыкант! Что я делаю! Бог меня накажет!», и бил, и стучал топором по струнам. Зачем он это делал? Какая дьявольская сила вписала его в этот процесс? За что? Неясно. Антонина аккуратно подбирала оторванные струны с земли и передавала их мне на руки. У меня уже был целый сноп струн, изогнутых, как струи. Я чувствовала себя похожей на статую фонтана «Урожай» на ВДНХ.

Тут к нашей группе приблизился немолодой мужчина в сером комбинезоне, типа сантехника. В руках у него была одна сарделька и одна бутылка пива. Антонина ему ласково заулыбалась.

–Коля! Здравствуй, Коля! Вот мы тут струны для перформанса отрываем... Помоги нам! Давай, я подержу твою сардельку пока, а ты возьми, возьми вон тот молоток...

Коля, смущённо охорашиваясь, передал сардельку и пиво на хранение. Антонина при этом строго посмотрела на Асю, которая вызвалась услужливо подержать, перехватила в свои руки, но Асе не доверила ни то и ни другое. Коля принялся рвать стонущие и вскрикивающие перед смертью струны клещами – и ни одна из них не умерла молча, каждая пропела своим голосом своё... Коля явно был растроган. Он остановился, чтобы утереть пот со лба, попросил обратно сардельку и пиво, откусил, отпил, и вдруг сказал:

–А я ведь тоже музыкант. Это я сейчас сантехник. А в детстве я учился на аккордеоне. Потом на гитаре в музыкальном училище... Это потом уже жизнь так сложилась...

И он хряснул по последней, короткой и тонкой тройке струн, запевших самым тонким и нежным голосом на всю нашу Счастливую улицу.

Наша Счастливая улица

Антонина Ласько и Ася Шемшакова – мои соседки по хрущёвке, расположенной во дворах Счастливой улицы. Антонина тут живёт лет 20, Ася лет 10, а я лет 5. А подружился мы не так давно, благодаря общительному настырному характеру мадам Ласько, которая так устроена, что всё про всех знает в доме и окрестностях, за всеми присматривает, каждый её язычком осуждён или поощрён за деяния свои.

Кто как относится к хрущёвкам, но я ими была очарована после проживания в корабле на краю Юго-Запада. Хрущёвки тут надышавшие, пожившие, поросшие древесным лесом с птахами, котами, псами, крысками, мышками, пьянчужками, старушками, мамашками с колясками, коей и сама я не так уж давно была. Однообразные здания были бы отвратительны как в видениях Нострадамуса или ещё там кого, кто вызрел своим духовидением в будущем некие города из страшных домов, похожих на коробки, без крыш. Похоже, что око Нострадамуса к нам на Счастливую заглядывало. Но изобилие природы маскирует унылые коробочки, было б неплохо, чтоб они вообще лианами поросли. Советские люди, получив тут отдельные квартиры со всеми удобствами, переселившись из огромных душных коммуналок центра, на радостях тут оттянулись, увидев живую землю подле домов. Кто яблоню посадил, кто черёмуху, кто лиственницу и сирень, кто жасмин и берёзки, дубки и клёны. А тополя сами могуче и нагло выросли, летом превращая дворы в пушистые игрушки. Мало того, посреди улицы про-

ходит зелёная зона и посадки вязов, разнообразящие архитектуру времён мечтаний о всеобщем равенстве и братстве.

Мне понравилась шаговая доступность метро «Ленинский проспект», лишённого эскалаторов и глубокой подземки. Мне понравилось, что улица Счастливая выходит одним концом счастья на поляну с берёзками, где летом в жару народ во траве загорает, а второй конец улицы упирается в железную дорогу, откуда со счастьем и присвистом можно уехать с платформы Дачное в Петергоф, Гатчину, Ораниенбаум. Счастливое предчувствие царских гуляний. Мне понравилась дачная расслабленность в этом углу города, хотя по ночам тут бродить не очень.

В коробке торгового центра, отличающейся от коробок хрущёвок тем, что эта коробка как бы из многих коробочек, – чего только нет. Магазины, магазинища, лавочки. Всё живёт, всё существует. И тут ещё одна счастливая вещь – кондитерское производство, иногда так манящее запахом свежего шоколадного крема, что устоять невозможно. Тут даже птицы диковинно сказочные.

То свиристели облепляют рябины и ясени в феврале, то дятел стучит, как в чаше. То снегири свиристыят, то синички звонко и сочно сообщают о радости жизни. Ястреб порой оставляет кровавые следы в виде забитых голубей. Вороны живут в своей нише, покаркивая, базаря и устраивая на рассвете битвы с чайками за помойки. Тут живут и другие сказочные представители фауны. Комары, мошки, мухи, бабочки, пчёлы, шмели, осы. Всему тут есть место для жизни. Осы норовят в августе выложить свои коконы на верхних полках шкафов в квартире, предварительно вылизав забытое на столе блюдечко с вареньем или высосать грушу. Бабочки-крапивницы залетают и прячутся среди домашних цветов. Ночные мотыли порой страшно стучат в окно и лезут к огню, если включить настольную лампу. Дикие серые кошечки, стуча нервно хвостом, подкарауливают хитрых крыс, выглядывающих из нор вокруг помоек. На них напряжённо и завистливо глядят в окна домашние котятки. Задумчивые собачники и собачники выгуливают своих питомцев, отворачиваясь, когда те делают, что надо. Всюду жизнь.

Ко мне повадился прилетать на окно окольцованный голубь. Я стала прикармливать его зерном, крошками. Он привык, и теперь утро у меня начинается с его призывного гугыканья. Прилетает он сначала один, потом приманивает свою жену, Хромоножку. У серой голубицы отморожена одна лапка, вместо пальчиков с коготками у неё культя, от чего при ходьбе птица хромает и облокачивается на вперёд выставленное крыло. Окольцованного я прозвала Кэгэбэшкой за его солидный, смелый и ловкий вид. Это прямо Штирлиць среди голубей. К тому же, когда я говорю на кухне по телефону, ибо телефон у нас на кухне стоит, голубь гордо вышагивает и словно подслушивает, наклоня головку то направо, то налево. И можно придумать, что у него в колечко на лапе вмонтирован микрочип подслушивающий. Чтобы знать тайны жителей Счастливой улицы и передавать их какому-нибудь заоблачному царю-орлу.

Самое интересное, конечно, люди. Сначала пара здоровых бабищ, местных аборигенок, ядовито наблюдала за мной, как только я тут поселилась. Сантехник интеллигентного вида любил поговорить со мной. На лестнице жители 10 квартир уже все стали известны не по именам, но по роду занятий и составу семей, ибо не скрыть. А так – типичное городское сожительство атомизированных особей. Тяжкое анонимное одиночество среди вежливых улыбок и даже здоровканий.

Только с Антониной и Асей у нас возникло неформальное общение, что доставило мне так много счастья и тревог, о чём расскажу.

У Антонины

И вот, разобрав на частицы рояль, мы пошли к Антонине Ласько «чайку попить», а на деле поплакаться о наболевшем, девичьем. Я недавно осталась одна с двумя детьми малыми на руках, без мужа и без денег, без работы и без понятия, как жить, когда всё время нужно

отдавать малым, и восьмичасовой рабочий день мне не по силам. Ася -аспирантка, одинокая девушка-социолог, влюбилась в мясника-одноклассника, а тот не отвечал ей любовью, ибо был женат. Даже и сардельками не отвечал. А жених Асин, юноша чистый и романтичный, почему-то был ей гадок, и она отвергла его предложение стать ему женой... Он написал ей стихи на розовой душистой бумаге, в которой воспел, как она, прекрасная Ася, каблучком вертит земной шар и его влюблённое сердце. И пришёл к Асе в гости со своей мамой, стихами и букетом роз, а Асе почему-то всё это показалось глубоко пошлым, стыдным. Она разозлилась, покраснела, взъярилась, «еле вытерпела этот позор и эту клоунаду» и выставила за порог жениха и возможную свекровь. Антонина же... О, она!...

В-общем, мы, как остроумные дамы, не столько плакались в жилетки, сколько травили байки и хихикали над слабостями дурных мужиков.

Антонина Ласько жила одна в четырехкомнатной хрущёвке на нашей Счастливой улице. Ныне работала она продавцом на вещевом рынке. Но в свободное от работы время Ласько превращалась в «талантливого народного художника». Дочка её уехала в Аргентину, и красота Антонина оттягивалась в искусствах. Мужиков, подкатывающих к ней, она презирала, но поляну вокруг секла. Да и какие тут у нас в хрущёвках мужики, подходящие её творческой вольнолюбивой натуре! Одни Коли-сантехники! Антонина внутри себя явно лелеяла жениха заграничного, с коттеджем и яхтой. А реальные мужские особи её сначала привлекали, а потом были ей противны. Последний её роман был с двадцатилетним торговцем матрёшками, и был он похож на роман императрицы Екатерины с бравым юным гренадёром. Но и это прошло. И вот она делала деревья из бисеринок и разобранных бус, реставрировала кукол, найденных на помойке, собирала советский фарфор, созидала петушков из треугольников, сложенных из старых одежд, перешивала шапки и клеила на фанеру красивых рыб из кружавчиков. По уровню дизайна она была выдающимся человеком, никто не умел так преподнести свои и чужие прелести миру, как Антонина.

У Антонины Ласько была проблемка. Она была не в ладах с денежкой. Её жадность была устроена так, что Антонина всегда тратила больше, чем имела. Вечно была в долгах. Она из-за этого попала в рабство. Пошла работать на рынок, в отдел, торгующий одеждой. Ей казалось, что надо всё из кассы вечером выгрести, на эти деньги срочно что-то покупать, тут же перепродавать, а утром класть в кассу унесённые деньги, и навар оставлять себе. Ей казалось, что это свидетельствует об её финансовой гениальности. Но как-то у неё с накруткой не очень выходило. Бывали и полные провалы, кончавшиеся позорными склоками с хозяином. Из-под хозяина Антонине уже было не уйти. Она ему была вечно должна и вечно отработывала за свои проказы, работала почти без выходных и без отпуска. Антонина оббегала всю свою ойкумену и знала, куда нажать, чтобы денег наскрести. Она была должна всем, и долги её покрыть могла уже только её дочка Юля, которая знала натуру своей матери и старалась держаться от неё подальше. Ей удалось удрать аж в Аргентину.

В советские годы вершиной вождедений Антонины была «фирмаА», западные лейблочки и брендики, и вообще заграничная жизнь. Как она выражалась, за джинсы фирменные ей «раком стоять» доводилось, а как иначе, как без красивой одежды красивой женщине... Но вот Перестройка распахнула все двери и створки, страну завалили горы фирменного секонд-хэнда, соседка стала челноком, привозящим «оттуда» вкусняшку, дочка её свалила надолго прямо к «фирмеЕ» и оставила матушке хоромы...

Антонина первым делом срезала кран на кухне, чтобы там сделать ещё одну комнату. Всё было превращено в кладовые и мастерские, посуда вместе с бельём лежала в ванне, ожидая помывки, из выплюнутых косточек повсюду в горшках выросли гигантские экзотические растения, всюду выглядывали мужские инструменты для пиления и забивания. Квартира превратилась в филиал барахолки с антикварным душком, где всякие вещички нашли пристанище по причине своей красоты и обольстительности. Это не был сплюснутый ужас моей матушки

Зои Игнатьевны, когда она спрессовывала в один мешок клубочки, одиночные дырявые носки, полиэтиленовые мешки, верёвочки, железки и прехорошенькую брошку сталинской эпохи. У Антонины тоже нарастала склонность к полному хаосу, но пока всё сдерживалось её эстетизмом. Вся квартира стала кладовой и мастерской. Лишь гостиная была очаровательна, похожая на сплошное будуарное гнездо; всё тут было в рюшечках, блёстках, позолотке, в ручном труде и статуэтках, на стенах висели картины, кусочки гобеленов и фотографии предков в рамках, радовала вышивка с маками, найденная на помойке, и это было очень уютно, весело, озорно. Маленький музей Счастливой улицы.

–Антонина, а кто отец Юльки, дочери твоей? Кто этот замечательный человек? – спрашиваем мы нашу соседку.

Антонина нервно закуривает, выпускает ароматные дамские дымы над своим пухлым диванчиком в рюшках.

–Мой первый муж был художником!

–Умер?

–Да нет. Что ему сделается. Он в соседнем доме живёт, в хрущёвке зелёно-белой такой. Мы с ним не сошлись характерами. Ругались, даже рукоприкладство было... Он пытался мне в грудь воткнуть маникюрные ножницы! Поддонок! Разошлись. Он, кстати, известный художник.

–Антонина! Да как же так! Ты же идеальная супруга художника! – вскрикиваем мы с Асей почти в один голос. – Ты должна быть Музой, ходить по мастерской в удивительных нарядах, пробуждая мужа к творчеству. А он должен твои портреты рисовать! Только художник может твою красоту понять и воспеть! Может, тебе с ним воссоединиться? Ты же создана именно для божественной жизни!

–Нет, девочки, это нереально. Я его терпеть не могу. Он делает вид, что меня не замечает, если на него наталкиваюсь. И я тоже так себя веду. Кстати, жив ли он? Чего то года два его не встречала!

Мы с Асей поражаемся изворотам судьбы. Что вот два близких любящих красивых человека, имеющие красотку дочь, дошли до такой степени отвращения и хлада сатанинского, что не здороваются, не общаются и нос воротят друг от друга, хотя кровные родственники, и этот узел дан небом навек...

–Девушки! Надо знаете, чем заняться? Надо собирать монеты... Я тут нашла советские монеты в банке на помойке. И у себя обнаружила в старом кошельке. Это целый бизнес! Сейчас я вам покажу...

И Антонина, сверкая полной попой в салатного цвета легинсах, лезет куда-то в тайные низы своей позолоченной акрилом тумбочки. Мы склоняемся головами над монетами, аккуратно разложенными в страницы с файликами.

Глядя на Антонину и её необычные игры ума, мне порой приходила мысль, что даже ангел-хранитель не поспевает за быстроумием своей подопечной, за непредсказуемыми для неё самой акциями её свободной воли.

Ася Шемшакова

Теперь про Асю. Ася Шемшакова – девушка особенная. Она среднего роста, с нордической фигуркой, чуть деревянной. У неё прямые волосы цвета сухого льна. Лицо даже чуть кукольное, на скулах глянцево-розовый румянец иногда мило так разгорается, глазки сверкают от остроумия и ума.

Мама Аси – профессор, уважаемая женщина. Папа тоже был учёным. Папа и мама, прекрасные цветки хрущёвской оттепели, учились, любили, ездили с палатками и гитарами на юг, делали карьеру. Ася им мешала. Они часто запирались от неё, и у Аси осталась травма ненуж-

ности и нелюбимости. Родители сначала сдали дочь бабушкам, а когда старая бабушка умерла, Асю в 18 лет отселили в трёшку-хрущёвку, которую из запасов жилья одиноких родственников выкроили. И вот она в нашем доме живёт уже лет десять, совершенно одна, в стерильном своём девичьем мире. Её хатка – полная противоположность Антониновскому барокко.

Ася Шемшакова обустроила квартиру в стиле офиса, будто она сама уже это не она, а её мама-профессор, и это типа её значимый для науки и приёма официальных лиц кабинет. Живая жизнь за окном намертво прикрыта жёсткими полосами жалюзи. Пол затянут мышленным ковролином. В спальне стоит ложе полудевичье посередине, и больше ничего там нет. В большой комнате привлекает внимание белый диван из Икеи и платинового цвета столик компьютерный. Над диваном висит огромная старинная картина в тяжком посеребрённом багете. На ней изображён бой. В центре австрийский солдат 18-го века протыкает шпагой воина противоположной стороны, всё происходит типа в марте, когда уже снег пятнами, небо серое, деревья голые. И в этом серебристо-сером мареве сверкает несколько красных вкраплений – кровь и вставки на мундирах. Печальная, мрачная, загадочная картина. Мне почему-то всегда казалось, что убиваемый, тонкий, хрупко изогнувшийся офицер – это Ася Шемшакова. Изгибается он на картине, хватаясь за поясницу и словно желая встать на мостик пред погибелью окончательной.

На кухне у Аси в холодильнике стерильная чистота, в пустых полках стоят пустые банки. В столе стоят пустые кастрюли и немного прозрачных тарелок. Кухня одинокого человека, не рассчитывающего на гостей.

Ася всегда голодна. Она иногда выпрашивает у меня сардельку, закатывая белые глаза на зелёном лице и обещая упасть в голодный обморок. Она клянётся, что в следующий раз она отдаст мне за неё деньги. Я с умилением отрываю от себя сардельку и дарю её ей великодушно как «бедной аспирантке», которая вся в учёбе и ещё без работы. Я то умею жить экономно, подрабатываю то там, то тут, и всегда у меня в доме есть еда, ибо, как же иметь детей и не иметь вкусной здоровой простой еды и её изобильных запасов... Антонина же объясняет отсутствие еды и голод Аси не её бедностью, а тем, что Ася страдает булимией. Что, если в доме есть еда, она тут же её всю съедает до последней крошки. И вот, чтобы не растолстеть и соблюсти фигурку, она вообще не держит еды в доме. Но есть то хочется. Вот она и подъедает сардельки то у Антонины, то у меня, обманывая саму себя...

Про себя

Мы сидим с Асей Шемшаковой у неё дома, в её сером офисе. Ася, несмотря на молодость, курит как старая эчка. Даже Антонина, курящая изящно, в стиле интердевочек ушедшей эпохи, Антонина курит меньше.

– Ну почему, почему от тебя ушёл твой Фокин! Ну, я то, ладно, я одна, потому что я диссертацию пишу, я учёный холодный человек. А Антонина – да потому что она свободолюбивая и эгоистичная кошка типа рыси, она никогда никакому мужику не согласится штаны стирать, это её унижает типа. А ты то, ты же нормальная! – говорит Ася, стряхивая пепел в бронзовую пепельницу своего умершего отца.

– Я? Да, ты знаешь, я и взаправду нормальная. Я не могу жить одиночкой, я ненавижу бесполоую жизнь. Я хотела бы быть просто женой, женщиной–матерью, иметь не двух, но пять или десять детей. Мне нравится семейный труд. Я плевала бы на своё образование, интеллект и прочую чушь. И жить семьей лучше всего в деревне. Я в глубине души, в самой глубокой её глубине – крестьянка!

Ася даже подпрыгивает от изумления.

– Мои предки по одной линии – от петербургского генерала, а по другой линии крестьяне. Я у бабушки в деревне лето проводила каждый год в детстве, – пытаюсь я объясниться. –

Деревня волжская – это рай на земле. Всё остальное это ад. Только на лоне природы может быть дом, семья и посконная православная жизнь. Я так хочу прильнуть к этому лону! Но где его возьмёшь в наши времена урбанизации, Ходынки, когда все давятся друг на друге верхом в мегаполисах...

– Да на природе твоей комары и мухи заедят. Но всё-таки, какого бы мужа ты хотела иметь?

– Фокина своего. Он мне нанёс кровавую рану. Он мечтал со мной, когда любил меня: «Анна, надо бы нам заняться коллекционированием картин современных художников и антиквариатом. А я хотел бы стать владельцем сети заводов по производству брюк». Как он мне нравился тогда таким со своими мечтаниями! Никого не хочу, только его. Искусствовед и предприниматель – это же идеальное сочетание!

И я начинаю воспевать прелести Фокина, со слезами и рыданиями, придыханиями и ломаниями рук. В ответ Ася делится со мной своими женскими девичьими страданиями. Про одноклассника мясника. Ей нравятся два типа мужчин – мясники или интеллектуалы. Лучше то и другое в одном флаконе.

– Всё это ерунда. Но, по сути, я хоть нормальная, но такая вся искажённая. Сейчас расскажу, – вдруг перехожу я на другой регистр. – Я такая необаятельная, такая тяжело молчаливая, или, напротив, такая тяжело говорливая, что ко мне никто не приходил в гости! Ты понимаешь это? Как я одинока! – вопию я, а Ася Шемшакова мне поддакивает, что всё, что я говорю – это и про неё тоже.

– Такая тяжёлая я, неслиянная, в твёрдой коре, что в меня тяжко было проникать, боязно как-то, да ещё и норы у меня своей не было. Женское существо ведь должно быть в покровках, как роза или пион, чтобы снимать покров за покровом и входить в сокровенное. И кровя то у меня тоже не было! Я была без кровя, несокровенная, без тайны! Я всегда была не одна. сначала в комнате с мамой и прабабушкой, потом – с мамой, две кровати вдоль стен, потом с мамой и ревнивым котом, потом уже как-то сразу – с маленьким сыном и матерью своей грозной, ворчащей и выдавливающей вечно моего мужа, потом уже с двумя мальчуганами и брачным диваном без двери, по которому топталась мамаша по ночам... А где терем, где тенета, где девица прячется?

– Да, где они! – восклицает Ася, оглядывая свой офис стародевичества, совсем не похожий на Терем.

– Брать на свою территорию самцы меня не могли, я как-то глупо, как-то обречённо встречала самцов без своих жилых метров, безквартирных самцов. К тому же они мне не верили, им хотелось меня, такую всю покрытую цементом и корой, изничтожить, сделать мне больно, пронзить меня, чтобы я подала признаки жизни. Но я была вежлива, деликатна, терпелива, и или впадала в оцементированность свою тяжкую, либо хихикала истерично, будто солнце и щекотка. Я ничем не подтверждала существование мужчин, они рядом со мной теряли себя, не было трения, сжатия, боли, ударов, я предпочитала только мир и дружбу, нежный клей и смех, но мужчинам этого было мало, им было скучно.

– Это всё про меня, – печалуется Ася, – я тоже не умею подтверждать существование мужчин, когда они рядом...

– Я, наверное, была ужасной солипсисткой, оскорбляющей жизнь других людей своей самоуглублённостью и самозацикленностью.

– О, да, я знаю, что такое солипсизм! Крайняя степень субъективного идеализма, когда человек считает, что кроме него никого в мире нет, все остальные и всё остальное – иллюзия... – причитает Ася, которая недавно сдала кандидатские экзамены.

– Может, это просто называется эгоизм? А как я могла быть другой, если то, что творилось внутри меня, так изумляло меня, так требовало расследования, объяснения, что на внешний мир у меня и сил то не оставалось...

Ася слушает меня, говорит, что это всё и про неё можно сказать...

Семья солипсистов

Сыновья мои спят на двухэтажной кровати в комнатке, у которой есть дверь, и так они и живут на разных этажах, встречаясь только по утрам и перед сном, а так у них всё в разной степени. За стеной в самом маленьком закутке распашонки сидит их бабушка, мамаша моя, Зоя Игнатьевна. Она – прародительница этого стада молчаливых и одиноких двуногих существ разных полов и возрастов. Я сплю в распашнутой, без двери, гостиной. Все по мне ходят, когда захотят.

Зоя Игнатьевна старая, но бодрая и злая. Муж от неё ушёл вскоре после свадьбы и умер молодым. Она всё время живёт в истерике. Её мучают страх смерти и ежедневное её ожидание, убеждённости в том, что ничего хорошего быть не может, подкожный ужас остаться в одиночестве. Трещина прошла какая-то по родовому корню. Люди бежали нас, неприятных людей, которые были то скучно тихи, то излишне говорливы, оскорбляли окружающих своей несцепляемостью с миром.

Живые люди не приходили в наш дом.

Да и дома то не было. Была распашонка, и каждый её рукавчик был забит скорпиончиками, одинокими солипсистами. Старуха не любила меня, свою дочь, она продолжала пребывать в своей истерике одиночества и страха смерти, одолевавшего её. К этому лет десять как добавилась истерика безделья. Зоя Игнатьевна ушла с работы, в распашонке своей она не знала, чем заниматься, домашний труд она не любила, не любила она готовить еду, радующую всех. Готовила она только по своему вкусу, ни разу не прогнувшись под вкус домочадцев. Что-то готовит с руганью и проклятьями себе под нос, потом засунет в холодильник и молчит, вместо того, чтобы созвать нас на пир. Найдёшь, съешь и стыдишься – ведь не угощали, не звали... Не любила Зоя Игнатьевна убирать квартиру, как другие бабушки, прыгающие с вениками и высматривающие каждую пылинку. Когда она мыла полы во времена моего детства, вид у неё был трагический, озлобленный, страдающий. Я чувствовала себя виноватой. С тех пор, как я стала матерью, полы, унитаз, посуда и мусор были моим делом, чему я была и рада. Я, молча, мыла и чистила. Зоя Игнатьевна презрительно называла нашу общую жилую площадь «гадюшником». Зато обожала, кряхтя, согнувшись, вымыть с тряпкой лестницу на площадке у двери, показывая соседкам, что вот она какая хозяйка героическая, а дочка её ленивая сволочь.

В нашей семье не было общего семейного весёлого стола, общих вкусных блюд, каждый ел отдельно у себя; я ем на диване, старший сын – у компьютера, младший – на своём детском столе. Есть за одним столом было невозможно. Мрачная старуха начинала ядовитничать, или суетливо приставать и потчевать насильно, так что желудку становилось тяжело, или же она отпускала ядовитые шпильки, и всем становилось неловко. Нужно было бы отвечать так же ядовито, наносить ответный ядерный удар старухе в жало, но было лень, гадко и мерзко, и просто все разбежались по углам с тарелками и там, приятно скрючившись в своём одиночестве, приятно поедали свою еду без свидетелей, разговоров и общения. Любимой темой Зои Игнатьевны был самопиар. Если мы потребляли её еду, то во время поедания оной лился могучий поток, воспевавший продукт, но и придиричиво описывающий его недостатки. Кусок застревал, ибо уже сил не было на пищеварение, но только на слушание текста о пище. Мир слов Зои Игнатьевны резко отличался от мира реальности. Речи успокаивали Зою Игнатьевну, создавая ей для самой себя свой портрет в виде абсолютно правильной, добродетельной, безукоризненной женщины-страдальцы.

Чем же занималась Зоя Игнатьевна? Уже десять лет лежала она на диване и смотрела телевизор, всё подряд смотрела. Когда появилось ночное телевидение, она ночью его смотрела, так как у неё была хроническая бессонница, она спала чуть-чуть под утро, вставала, шла на

кухню и там делала себе солипсический одинокий чай, чуть-чуть кипятка на одну чашку, в которую она бросала пакетик чайный, быстро вытаскивала, так как не любила крепкий, клала его на блюдце и потом пила чай второй раз с этим пакетиком, уже часов в одиннадцать утра.

Просмотр телевизора давал пищу Зое Игнатьевне, но обсуждать ей эту пищу было не кем, разве что с подругами по телефону. Но слаще ей было не телевизор с ними обсуждать, а то, какая у неё Анька плохая. Зоя Игнатьевна давно жила в каком-то придуманном мире, в котором она вечно раздражалась мною, своей дочерью, вечно ей хотелось меня унижить, высмеять, такую дуру непослушную. Чего и кого я должна была слушаться со своими двумя детьми и изгнанными из моей жизни моей мамашей мужьями, что я должна была делать, чтобы «маме было приятно», это было уже совсем непонятно...

Если в кои веки ко мне случайно на минуту заходило существо мужского пола, то бдительная основательница рода солипсистов выскакивала и начинала демонстративно прятать ключи и кошелёк, уносить из холодильника продукты себе под подушку, заходить к внукам в комнату и говорить детям гадости про их маму, свою дочку. Мол, «кто к ней пришёл-то, точно бандит, точно нам сейчас всем шеи то свернёт, и вам свернёт, и мне, как курице, свернёт»... Дети посмеивались над бабушкой, но, боясь её сурового и обидчивого нрава, не подавали вида и поддакивали. Но это не было общением, дети росли солипсистами.

Пришедшие мужчины были слабаки, они не принимали во внимание красивых детей, они сами были как бы в истерике, у них были свои проблемы, они не умели общаться не спеша, с расспросами подробными, выслушиваниями. Да и выслушивать было нечего. Долго говорила только бабка, она с возрастом всё как-то дольше и бесстыжей говорила, часто с мельчайшими деталями скучные стариковские проблемы описывая, слушать она не умела, задавать вопросы тоже не умела, ей надо было только сливать из жала своего в чужие уши. Мне и детям говорить не давала.

Я по работе и просто по возможности уходила из дому надолго, вся моя жизнь была за порогом, на улице, я была уличная беспризорная бездомная мама, у которой в этом мрачном доме не было и сантиметра своего. Всюду царил бабка, она бдела, лазала в мой шкаф, там что-то перепрятывала, перекладывала, рылась в книгах, в бумагах, будто искала компромат, чтобы кому-нибудь на меня, дочку свою, донести. Чтобы меня наказали. Моя страшная обезмуженная жизнь не была достаточным наказанием, старухе хотелось, чтоб я вообще перестала солнечно улыбаться и смеяться, а я это делала, продолжала делать, хихикая в телефонную трубку по ночам. Вот уж и Никита подрос, и уже и его тетрадки подвергались перлюстрации странной, будто бабка из КГБ какого-нибудь. Ещё проверке подвергался мусор. Перед выкидыванием Зоя Игнатьевна выворачивала содержимое ведра прямо на пол, оттуда перепрятывала какую-нибудь пустую бутылку, вычитывала выброшенные листки, уносила в шкаф к себе тряпку (пригодится!), и было это очень стыдно и негигиенично...

Но мы всё терпели и не обращали внимания, чтобы не впасть в ужасы скандалов, ругани кухонной, уязвления жезлом языка по самое не хочу. Иногда казалось, что именно этой формы жизни смертельно не хватает Зое Игнатьевне. Мы уходили и запирались в молчание, ей же хотелось судорог, истерик, стука табуреткой, может, даже рукоприкладства, милиции, наших слёз и рыданий, позора и раскаяния, что «старого человека обидели!». Иногда ей удавалось своего достичь, у меня тряслись руки и ноги после того, как я, не выдержав, рывкала на мамашу свою, она же вдруг становилась спокойная, довольная, даже розовела от радости, что достигла своего, и что «вот она, доченька, на старого человека накричать осмелилась». Я научилась терпеть и молчать, и тогда Зоя Игнатьевна, мать моя, применяла другой приём.

Я отвечала на бытовые вопросы силным своим обычным голосом, а она начинала привязываться: «Ты чего на меня орёшь? Ты больная, что ли? К врачу надо идти лечиться, раз невыдержанная такая! К психиатру! Ишь, орёт на меня, детей завела, а сама сумасшедшая!». Я, трясясь, запиралась у себя, слушая топот и язвы старухи-психолога, знающего, как за струну

дёрнуть, чтоб побольнее достать. Когда я совсем научилась невидящими глазами смотреть на неё, она как петушок насакивала, насакивала, и всё в глаза заглядывала – удалось проклюнуть до живой кровушки, или же нет ещё. Я просто убежала из дому.

В доме я молчала глобально. Я знала, что разминулась с жизнью, что это не жизнь, это какая-то горькая и страшная иллюзия, жуткий тоскливый безысходный сон, что другой жизни уже не будет никогда, что все мечты о весёлой дружной семье несбыточны, что дети растут без отца, и уже отец им не нужен, что никогда не будет семьи нормальной, семейных весёлых совместных трапез, никогда дети не увидят, что люди умеют жить дружно, душа в душу, что люди умеют говорить друг с другом по-человечески, без истерик, что они умеют общаться, умеют обсуждать семейные общие вопросы, что можно вместе хохотать, вместе есть что-то вкусное, сидя друг против друга, что в семье могут быть мужчина и женщина, которые помогают друг другу и любят детей. Такого никогда не будет. Я видела, что солипсизм привязчив, неизлечим, передаётся детям.

Что всего тепла и обаяния, красивой радостной одежды и умения слушать другого, красоты тела и лица, сексуальности и образованности, умения вкусно готовить и чисто убирать – всего этого не хватит, всего этого в сумме не хватит, чтобы перевесить эту адскую жизнь, это грузило солипсизма и отсутствия своей личной норы...

Под истерикой бабушки не могли процветать искусства, и вообще никакой труд не мог процветать. Когда-то Зою Игнатьевну во время блокады стукнуло в детстве по голове обломком кирпича, возможно, у неё открылась какая-то связь с какими-то зонами невидимыми, может, это они её сделали такой. Может, она стала психически больна от удара кирпичом. У неё перевёртыши какие-то в мозгу происходили, она не любила музыку, а любила тишину и свою речь, обращённую в рабочий коллектив. Дома она наводила полную тишину, любила пребывать обездвиженная, как какая-нибудь ящерица в тенистой укромной щели. Я однажды видела такую ящерицу – это была ящерица-прадедушка, морщинистая, бледная, будто мхом поросшая ящерица. Может она заползла на зиму под дом, чтобы поспать в анабиозе, но её там замуровало, может, много лет прошло, и вот ящерицу я замуровала, нечаянно вынув камень из фундамента, и оттуда вылезло это древнее и дряхлое животное. Мать была похожа душой на это долго молчавшее, потерявшее связь с миром животное, необлюбленное солнцем, замшелое, одеревеневшее. Нормальные, среднестатистические подруги, увидев Зою Игнатьевну, называли её «запущенной женщиной».

Все в семье заражались бабушкиной мертвечиной; мертвечина завораживает и гипнотизирует, так же как и живость. Хотелось бы живости, но была предложена для воспитательных целей из космоса этой несчастной семье мертвечина, мощная мертвечина старой хозяйки и главы рода, гордой древней девушки, ни с кем не слившейся.

Бабушка вела себя так, будто она залегла, замерла и тягостно прислушивается к каким-то звукам космоса, или подземелий, или невидимого инферно.

Я смотрела на маму и иногда думала, что она очень маргинальна, могла бы быть алкоголичкой, подавшейся зову зелёного змия, в которой врата разверзлись слабости и похотливой жажды, и эту жажду ничем не насытить, ни одна чаша неупиваемая не может эту скважину насытить. Но никто не научил её пить, и она заменяла этот простой изврат другим, более изысканным. Не водки хочет, но нашей крови и унижения, а так она себя не чувствует живой. И вот она сама себя обманывает, что всё нормально, а нормы то нет, уже давно патология одна.

Но в матери была огромная доля послушания. Иногда мне казалось, что мать так тревожно, так насильственно прижимает свою семью к полу в обездвиженности и молчании, чтобы ни один звук не пролетел мимо – что она, таким образом, не космос слушает, а некое всеобщее. И это голос всеобщего, социума, голос всего общества, всех этих миллионов двуногих существ, живущих в этом городе, в этой стране, говорящих на одном языке. Все эти существа что-то говорят, а о чём-то не говорят вслух, что-то переживают, как-то поднастраивают свои

антеннки на общую волну, и вот это невидимое, невыразимое словами умонастроение, настроенность на что-то душ Зоя Игнатьевна и улавливает. И получается противоречие некое: семья солипситсов, норожителей, необщительных существ, мало способных на человеческие связи с небольшим кругом лиц, как это обычно бывает в нормальных семьях, вот эта семья солипсистов – она пребывает в полной тиши, как древний радист в рубке, и цель семьи во главе со злобной, неадекватно реагирующей бабушкой – услышать звук мирового камертона, быть всегда на пульсе мира.

В других семьях встречались такие мужчины старших лет и старички, которые считали своим долгом читать все газеты, слушать радио и смотреть телевизор, чтобы держать на пульсе социума и всеобщего свои индивидуальные, маленькие, ничего не значащие ручонки. В нашей семье таким вот мужичком была бабушка, только газет она не читала, она вообще пятьдесят лет ничего уже не читала. Уверенность в себе и самоуважение она черпала в том, что выносила суждения не от себя лично, а от какого-то голоса нормы, который подслушивала в своём великом безделии и тишине. Да, телевизор она смотрела, но делала очень тихий звук, такой тихий, что даже удивительно было, как она ухитряется что-то слышать. Но она слышала всё: и шёпот телевизора, и вздохи дочки за стеной, и звуки компьютера внуков сквозь дырку в стене, в которую с двух сторон были вставлены розетки.

Она, порабощённая некогда насилием общества в виде смеявшихся над ней детей в школе, ибо была она отличница круглая, а они нет, или в виде сокурсниц, завидовавших её вкусу, обаянию и сердцеядству на танцах, она теперь полностью перешла на позицию своих врагов и гонителей. Она стала на сторону грубых, простых, нечитающих, малообразованных людей, чтобы унижать, топтать и презирать меня и моих детей с нашими книгами, нашими позывами к искусствам и изяществу.

Мы удивлялись: все бабушки горой стоят за своих детей и внуков, а Зоя Игнатьевна была врагом меня, дочери своей, всячески меня пинала и прикусывала своей старой челюстью, да и старшего внука она осматривала пристально, чужим взглядом, чужими глазами. Про его высокий лобик маленького учёного она, со своим негативизмом, говорила: «Откуда у него этот низкий обезьяний лоб? Не в нашу породу!» Во внуке бабушка зрела что-то отклоняющееся. Ибо был он маленький интеллектурал, читающий все подряд книги и журналы, которые попадались ему под руку. А ведь когда-то и Зоя Игнатьевна в детстве читала всё подряд и любила помечтать над книжками. Но жизнь сломала её.

Удивительно было видеть, как бабушка-маргиналка, чудачка чудовищная, извращенка почти, посмешище тайное для других, старая дева почти, ибо у всех старушек были или мужья, или же вдовство после семейного периода, а это была кривая старушонка, плесень ненормативная, всю жизнь прожившая одна, без мужа, без любовных связей, без приключений и фантазий, – и вот она, девушка старая по сути, одинокая, вот она вдруг втянула в себя мощь нормы. Говорит чужие слова, повторяет их страстно, как адепт этой чужой точки зрения. Но у неё получалось карикатурно. Убить пересмешиника! Сам факт, что она, такая вся маргинальная и по образу жизни, и по одежде, и по быту, и вдруг говорит правильные азбучные истины – этот факт уже делал истину подпорченной.

Но лучший способ защиты – нападение. «Из неё мог бы выйти отличный прокурор», – такая мысль порой приходила в мою голову.

Бытовая война

Занялась прочисткой ванны вантусом. Сначала ничего не добывалось. Потом такое стало выскакивать! Кусочки порушенной стальной сеточки! Посуда с жиром побеждала не раз, от сети куски плоти требуя. Их то я и вынимала теперь по частям. Потом от этих сильно засасы-

вающих поцелуев – поцелуев чёрными губами резинового негра – повыскакивала она – протоплазма ванно-кухонная. Я чмокала, чмокала и вспоминала Аськины протоплазмы.

Как-то я зашла к Аське Шемшаковой, и мне очень захотелось в туалет. А она вдруг страшно разгневалась – я не поняла даже из-за чего. Типа мною брезгуют и надо своё грязное микробоядовитое заразное дело делать у себя. Когда она уткнулась в свой комп полностью, парализованная открывшимся ей там, я всё же нагло нырнула в туалет. Унитаз был прикрыт голубой крышкой – у Аськи вся ванная сделана из жёлтого и голубого – из древнего кафеля и голубых деталей, типа шампуня с голубой рукояткой, голубой расчёски, голубой зубной щётки и голубой крышки на унитазе. Я подняла её и ужаснулась – горшок был забит рваными газетами, до краёв был заполнен коричневатой жидкостью. Я быстро выскочила и сделала вид, что в туалет не заходила и ничего про Аськино свинство не знаю. Когда я уходила, она проямлила вдруг:

–Знаешь что, прояви-ка соседскую солидарность – дай-ка мне свой вантус на один день.

–Зачем? – прикинулась я невинной.

–Да так, раковина пошаливает.

–Нет, не дам.

–Почему? Вантус, мне всего лишь вантус нужен – на один только день.

–Да пойд и купи!

–Денег нет.

–Он стоит копейки, рублей 20, а вещь полезная и нужна в хозяйстве всегда. Не дури!

–Ах, вот ты какая! Не хочешь соседке вантус одолжить!

–Не хочу. Попроси у соседки напротив. А то я с вантусом под мышкой буду дурачки выгладеть на улице, пока до тебя дойду.

–Значит, не дашь? Ну-ну. Вот ты какая!

–Ага.

–Поэтому у тебя с матерью такие плохие отношения!

–Как!!!!???? – я прямо от обиды села на диван, охая.

Ася стала на меня наседать, и меня пробило на вой.

Мы встали в крошечной прихожей хрущовской друг против друга, вцепившись в косяки дверей, которых тут было на двух метрах целых три, и я вопила, а Аська наседала въедливо, как дознаватель. Как потом мне рассказала Антонина, Аська отучилась три курса на юридическом...

–Меня угнетает то, что я живу с чуждым мне человеком! – выла я. – Этот человек ежеминутно угнетает меня. Понятно, что все люди чуждые, за редким исключением. Но норка! Но стены! Но крошечная норка, внутри которой ты можешь построить своё тело, сосредоточить свой дух, чуть-чуть выспаться и восстановить свой гомеостаз! Я жертва дурного коллективизмуса! Моя матушка, изнасилованная коллективизмусом, и сталинизмусом, и авторитаризмусом, основанным на глубинном недоверии в человека, она, она...

–Не жалуйся! Она! Она! А ты?

–Да, я дерьмо, слабое дерьмо, расплывчатый дед Момун. Я не смогла отстоять себя в великой борьбе со своей матерью! Я не смогла придумать, куда бы мне от неё уехать, в какую географическую точку мира, чтобы уйти от этой унижительной борьбы. Мне всего-то надо было в жизни – отдельную крошечную комнатушку, изоляцию от родных материнских глаз, чтобы эти глазки не давили на меня ежеминутно со своей перевёрнутой наизнанку мудростью. Маменька! Вы не смогли и свою-то жизнь выстроить, вы так и не избавились от своих пороков и грешков, от своей скудности, злопамятности, неверия в людей! Она же ни разу, ни разу в жизни не призналась в своих ошибках, ни разу прощения не попросила за то, что накосячила. Я, если чашку разобью – так маменькин вой стоит на всю вселенную. А если она – то

всё нормально. Мне ни разу в голову не приходило хоть писк малейший издать, даже если это моя разлюбимая чашечка!

А как она себя на кухне ведёт! Я захожу на кухню. Там матушка что-то из сумок выгребаёт. Пройти в узкую щель трудно. Я уже знаю, что если попросить подвинуться – начнутся поучения: «Что, сильно занята? Спешишь? Подождать никак не можешь? Ишь, занята она!» И т. И т.п. Если встать и стоять по стойке смирно – чайник кипящий заплюёт всю плиту и каша пригорит. Остаётся идти напролом. То есть я встаю на цыпочки, чтобы моя толстая часть тела оказалась выше её толстой части тела. Но Зоя Игнатьевна обычно ещё больше отклячивается, хотя могла бы встать под другим углом, чтоб пройти можно было. Но её только и нужно одно – контакт! Соприкосновение телесами в узком проходе между углом стола и углом домофона неизбежно. Протискиваюсь. Задеваю. «Ишь, мать толкнула! Ты чего толкаешься, а? Я и так едва на ногах стою, а она, здоровая лошадь, меня, старенькую женщину толкает!» Вот так мы общаемся.

А как велика у вас вера в свою непогрешимость и возвышенное положение над другими в силу вашего выдающегося ума! Знаешь, Ася, Зоя моя Игнатьевна как любит говорить: «Самая глупая женщина умнее самого умного мужчины!», – вот как она говорит!

Ася как-то странно на меня посмотрела и страшная догадка о том, что и Ася так думает, пронзила меня.

–Она порушила мою судьбу, сейчас она вставными челюстями поедает судьбы своих внуков!

–Ну а ты, ты чего не защищаешь своих детей от неё? Надо было в юности от неё отделяться.

–Если бы было всё так просто. О, как мечтала я отпасть от неё! Я уходила, жила неделями у подруг, потом снимала комнату. И мать каждый раз обманывала меня. Она плакалась мне о своих болезнях, о невозможности жить «в таком больном состоянии», с такими «адскими болями». Рассказы её о её болезнях и скорой смерти щемили моё сердце, которое всё было устремлено эгоистично и радостно к поиску самой себя, своих друзей, своего мужа. Я всё бросала и возвращалась в гнездо «ухаживать за больной матерью», страждущей от «адских болей». Она всегда умирать собиралась, каждый год. То у неё радикулит был, и она ползала, согнувшись, плакала от боли и от страха смерти. Голова у неё часто болела. И вот она обкутывала голову платком, и была ужасно похожа на Вольтера, помнишь, такая скульптура есть в Эрмитаже, где Вольтер с повязкой на голове и с сарказмом в улыбке издевается над Богом и порождает из себя ужасы французской революции? Её любимой поговоркой было: «Жила – не жила, и сдохнуть не жалко!». И как Вольтер в Бога она не верила. «Нет там никого!», – так говорила она. И вот это уже 20 лет длится, её «адские боли», и в основе там нет смертельных болезней, одна истерия. Я от человеколюбия возвращалась, Зоя Игнатьевна злорадно принимала возвращение меня к ней, «возвращение своей блудной дочери», как она говорила, и начиналось всё по новой, весь ад истерии маменькиной.

–А я, я вот отпала от матери. Хотя она у меня без истерии. Деловая она, больше всего на свете науку свою любит... Ну и что... Где счастье? Где муж? Где детки! – отвечала мне Ася.

Я остолбенело смотрела на Асю. Противоположный факт её биографии и одинаковые последствия в виде разбитой жизни и одиночества изумляли меня. Мы перешли в серую комнату-офис и осели на икеевский диван.

–Нет, Анюта, я всё же не понимаю, почему ты не разъехалась с ней? – говорит Аська, нервно докуривая десятую папироску, стряхивая пепел в крупный могильный курган хабариков в пепельнице отца её.

–Но погляди, как было дело! Маменька то у меня необыкновенная! Выдающаяся по своему одиночеству, своему воплю в мир, своей неустроенности. Все маменьки улучшали свою жизнь и жизнь детей изо всех сил. Моя же ухудшала изо всех сил всеми способами, изо всех

сил умирять плоть свою, живя в безмужичии всю жизнь, доведя до высшей степени аскезы. Так боящаяся и не любящая жизнь вокруг, что даже и одежду себе десятилетиями не покупала, до дыр занасывая. Корочкой любящая питаться и меня питать как мышь. Она десять лет без белья спала на голом матрасе, так как решила, что вот-вот умрёт, и что зачем тогда бельё стирать лишний раз. Но не пост это был, не аскеза, не уход от мира ради царства небесного. А ради какого-то иного царства. Невысказанного.

А разъехаться... Куда там разъехаться из однокомнатной квартиры, в которой мы жили с ней до моих двадцати двух годов... Я ведь как в хрущёвке оказалась? Я выменяла однокомнатную квартиру, где мы с мамашей дышали ноздря в ноздю, на эту трёшку хрущёвскую. Дальше я нашла обмен и на эту хрущёвку. Матери – однокомнатная в пригороде, мне комната в коммуналке. И мать сверкнула глазом и сказала, что никуда из хрущёвки не уедет, только через суд. А в суде она всем расскажет, что я сумасшедшая и лишит меня родительских прав. Ну и тыды, тыды.

–Бедная ты, бедная...

Роман с Фокиным

Мы у Антонины. Антонина очень любит потчевать нас. Мне всегда неудобно принимать её горячее гостеприимство. Она всегда рассказывает о своих финансовых трудностях, о том, как голодает, ибо до пенсии ей не дотянуть, а потом вдруг бежит на кухню, варит нам каждой аж по две сардельки, да ещё и что-нибудь необычно вкусное выставляет. И мы отказываемся, но она настойчиво предлагает, заставляет, и мы едим сардельки, чувствуя муку, что объедаем бедного человека, и пьём чай. Ибо очень вкусно.

–Ну, всё же, расскажи нам про Фокина, как вы любили друг друга. Про Фокина своего, он же такой красавчик, богач, на серебряном опеле! – всё пытаются меня мои подружки.

–Появился он в моей жизни вот как, – я удобно располагаюсь на барочно-порочном диванчике Антонины. Мои подружки навостряют ушки, чтобы испить мою историю. – В очереди я сидела за деньгами, и он там же сидел. Я тогда предпринимателем была. У меня был Никита, после того как Лесин исчез с концами на Алтае где-то. Мне всё кажется, что погиб он. Сон мне был... Я была одинокая мать, положившая крест на своей жизни. И вот мы рядом с Фокиным оказались в очереди в коридоре длинном, на диване одном. Он был кудрявый блондин в золотом пенсне, в белых льняных брюках, в льняной рубашке белой, очень похожий на «Валеру» – персонажа из «Неуловимых мстителей». И началось. Этот принц влюбился в меня, стал звонить ежедневно, розы дарить, на серебристом опеле поджидать. Я же чувствовала себя овцой павшей и убитой, не достойной такого молодого красавчика, как он. Я стражду от заниженной самооценки.

–И я стражду, – говорит Ася.

Антонина Ласько смотрит на нас надменно. Она-то не страдает от заниженной самооценки как красивая пышная женщина, много-много любившая в жизни. Хотя если посмотреть на неё как на выдающегося народного дизайнера – то уж точно страдает. Ей бы не торгашкой работать, а на фабрику модельером пойти б...

–И вот между нами началась страсть. И я пыталась уйти от него, и мы не могли оторваться друг от друга. Он рыдал на моем плече, и оно всё было в его слезах. Честное слово, я могу жилетку свою пёстренькую показать! Он, пока я была беременная, сначала обещал мне горы золотые, потом задумался, говорит: «Ты слишком много прав будешь иметь», и ничего не сделал. Не расписался, не подарил квартиру, хотя деньги у него были, не смог любить сына своего так, как должен был бы любить.

–Какой негодяй! Бедная ты наша! – запричитали женщины.

Но не в стиле нашего женского клуба было горевать и патлы рвать на башке. Я вспомнила смешную историю, как Фокин меня обуздывал и отлавливал в своём космическом слепом желании скреститься со мной судьбой и кровью.

О бритье ног.

(из воспоминаний о нашем романе с Фокиным)

Одиннадцать вечера. Телефонный звонок. Он звонит.

–Я завтра приеду к тебе в 5 утра. Ты готовься. Жди. И главное – чтобы никаких зарослей черёмухи душистой. Чтобы ноги были гладко выбриты. И все остальные места – тоже. Чтобы ни одного волоска не осталось. Если найду – сильно обижусь. Ты же знаешь.

Я хихикаю дурачки. Очевидно, это означает знак согласия.

–И на голове – тоже? Чтобы ни одного волоска? – пытаюсь состричь.

–Нет, на голове можешь оставить. Хотя и на голове – у тебя там так много. Если бы обстриглась коротко, под ноль – я бы не возражал.

–Будет сделано, товарищ начальник! – говорю я бодрым голосом, внутри, не скрою, сильно озадаченная.

На часах 23.00. Все магазины уже закрыты. Купить крем для эпиляции – невозможно. Купить какую-нибудь бритву – хоть какую – тоже уже нельзя. А задание надо выполнить. Обязательно. Он прав. Он опять прав. Женщина должна быть приятной на ощупь. Рука, мужская рука должна скользить по женскому телу, не нарываясь на неприятности. Не обезьяну же бритую он гладит. Ноги должны лосниться, подобно мрамору. Фокин прав. Абсолютно прав. Что делать? Экий принц! Обычно принцы, чтобы добиться руки принцессы, борются с драконами, продираются сквозь терновые заросли, пытаются развеселить даму, разгадать её загадки. А тут – всё наоборот. Не хочет, видите ли, продираться сквозь терновые заросли. Подавай гладкий санный путь. Не хочет разгадывать загадки – заставляет принцессу ломать голову. Не хочет никакого дракона побеждать. Дама сердца, гладкая, доступная, покладистая, должна сама биться один на один со своим собственным драконом, с телом своим, выпускающим неприятные колючки на икрах ног и в других местах.

О! Меня посещает блестящая идея! Петя! Психолог! Сосед! Хоть он и разговаривает тонким, женственным голосом, хоть и скромн и целомудрен с виду, как сорокалетняя девушка, а всё-таки, несомненно, принадлежит к мужскому полу. Не следует в этом сомневаться. Наверняка, хоть изредка, хоть, возможно, и реже, чем другие, бреет свои девичьи щёки. Наверняка, бритва у него есть.

Я набираю его номер. Дома. Всё в порядке. Я спасена от позора! Дело будет сделано, товарищ генерал!

–Алло? Ты, Анютка? В гости? Заходи!

И тут я прихожу в замешательство. Как, как я буду просить его одолжить столь интимную вещицу? Что я скажу ему? Даст ли? Что я ему буду объяснять и как? Я набиваюсь в гости, несмотря на поздний час – ну, выпить чаю, или, там, чего покрепче. Он удивлён, но соглашается, не без удовольствия.

Пьём чай. Смотрим цветной телевизор. Не спеша ведём беседу. Петя тонко чувствует искусство во всех его видах, хотя из всех наслаждений, которые способен доставить искусство, он предпочитает брэнчать на раздолбанном пианино и петь громким фальшивым голосом.

Я постепенно подвожу к главной цели моего визита. Неожиданно, он горячо и тепло отзывается на мою просьбу. Достает электрический прибор, показывает, как им пользоваться на примере своих щёк. Я извлекаю из широких штанин свою нет, не ижицу. Просто девичью запущенную ногу в брутальных волосках цвета «натуральный блондин» – то есть серенький какой-то, мышиный блондин. Петя нежно бреет её. Ему явно это по душе.

О, если бы Фокин был также нежен и добр. Петя намного добрее и нежнее Фокина. Почему женское сердце так глупо устроено. До трёх ночи мы с Петей обмываем состоявшееся ритуальное событие, описываем поэтически тактильные ощущения, освежаем их периодически, вновь реально ощупывая и поглаживая. Мы друзья и соседи. Это так приятно. Совесть моя чиста. Петина – тоже.

В 5 утра приезжает brutальный и грубый Фокин, который чужд милых поэтических наслаждений. Ему моя гладкость пришлась по вкусу.

Как раньше жила Антонина

Антонина и Ася выслушали мой рассказ с удовлетворением.

–Правильно сделала, что выполнила прихоти Фокина своего! Зато теперь у тебя Артём! Ты, Ася, слушай Анюту. Твоя, Ася, цель – зачатие! Хватит небо зря коптить, бездетной жить! И вообще Фокин твой тебя любит, Анна, я это вижу. Когда он к тебе с сумками идёт, и вид у него такой трогательный. Он бы от тебя не ушёл, если б не козни твоей мамыши, – говорит Антонина. – Просто сейчас у тебя период, когда ты не можешь зарабатывать нормально. Как только встрепенёшься, денег нарубишь, так и Фокин вернётся. Жадный он у тебя, к богатой бабе ушёл... А ты её переплюнь!

Я с сомнением отношусь к этой мысли Антонины – переплюнуть женщину-стоматолога, но она меня утешает. Мы пьём огромные чашки с растворимым и сладким кофе, которые еле влезли на край заваленного выкройками и бисеринками в пакетах стола, а Антонина с некоторым фырканьем смотрит на нас, которые моложе её, но так плохо устроены в жизни.

–А как я жила раньше, девочки! Сколько зарабатывала! Вот времена то были, не то, что сейчас! – вдруг предаётся воспоминаниям соседка, закатывая мечтательно под потолок свои прелестные глазки с накрашенными стрелками ресничками. Кудряшки её лимонно-молочного цвета, запертые над головой в греческую причёску при помощи заколки «краб» со стразами, тоже словно размечтались. На устах Антонины, румяных, типа купеческих, на них появилась лёгкая улыбка. Ася перестала жевать шпикачку, я застыла в напряжённом внимании, стараясь уловить каждое слово опытной дамы...

Выяснилось, что раньше Антонина зарабатывала на жизнь многими способами. Один из них был следующим.

Антонина, подцепив где-либо финнов, пускала их предаться любви с подругами в свою хрущёвскую миниатюрную квартиру. Четыре комнатки, пусть и крошечные, но у каждой своя дверь с защёлкой интимной! Финны давали ей денег за предоставленный ночлег, к тому же приносили много еды и часто дарили всякие «фирменные» вещи. У Антонины для приёма иностранцев номером люкс была средняя комната, там стояла огромная четырёхспальная кровать, было всё по-европейски тип-топ на высшем уровне. Комнату даже не портил встроенный советской эпохой шкаф. В этом шкафу Антонина хранила идеально выстиранное и накрахмаленное постельное бельё. Белья там было вдоволь – и для совокупительных целей, и для домашних. Там также лежало детское бельишко её внуков, жестоко увезённых дочерью в Аргентину.

Однажды Антонине и её подруге удалось подклеить в одном труднодоступном для простых смертных совков заведении двух финнов. Антонине достался крепкий семидесятилетний, её подруге – финский мужчина лет сорока. Пары разошлись по комнатам, мужчины предварительно зверски ужрались русской водкой. Утром один из финнов восстал из четырёхспальной постели, натянул голубые джинсы и пошёл по нужде. За уборную он принял встроенный шкаф. Он, очевидно, почти ослеп от водки и пустил могучую струю прямо в чистое белоснежное бельё. Бдительная Антонина выскочила из засады, но было поздно. Выпустив ведро зловонной жидкости на детские трусики и пододеяльники, финн изверг содержимое желудка на пол. Антонина словами, интонациями и жестами пыталась объяснить иностранцу, что он совер-

шил страшное злодеяние, и что теперь он должен возместить нанесённый ущерб. Стирка белья стоит столько то, отправка вещей в химчистку – столько-то, ремонт шкафчика, изъязвленного отравой – столько-то. Финн полез в карманы и стал доставать оттуда финские марки. При этом часть купюр незаметно для хозяина падала на пол, прямо в вонючую лужу. Антонина продолжала наседать, в ответ из карманов финн доставал всё новые деньги.

У Антонины была вообще-то привычка ходить по своей квартире босиком, и тут она об этом вспомнила внезапно. Она приблизилась к финну, потопталась голыми ступнями в липкой финской луже, несколько купюр к ногам тут же приклеились, и русская чаровница убежала в ванную. Там она сняла деньги с пяток и спрятала их, потом совершила ещё один рейс к пьяному финну, опять поелозила ногами возле него, опять убежала в ванну... Много она рейсов совершила. Добыча была хороша! Плюс финн оставил в благодарность Антонине продовольствие из «Берёзки» и свои джинсы. Не брать же с собой, уделанные. Ушёл в трениках Антониновских...

Мы поохотали и разошлись, сняв депрессию своей обезмужиченной жизни...

У Антонины

Антонина Ласько, соседка моя, звонит мне. Что вот она собралась в райсобес, и я должна ей помочь в этой ситуации.

Леди с интеллектуальными и артистическими способностями, намного превосходящими способности многих окружающих, тем не менее, совершенно не способна к унылому добыванию денег в плотных объятиях трудового коллектива своего вещевого рынка. Её острый птичий ум осматривает всё вокруг с целью добывания ещё всяких доходов. Новый этап её творческого пути – это сбор справок, подтверждение инвалидности, вопль о малообеспеченности, и всё из того же ряда.

Антонина крутится перед зеркалом, которое висит в тёмной прихожей. «Подожди, я сейчас. Только оденусь. Вместе пойдём. Нам по пути до метро». «Ну ладно, подожду», – соглашаюсь я опрометчиво. Жара. Конец мая.

Антонина убегает в угловую комнатку, через минуту выходит с ворохом одежд в руках – сама в трусах, без лифчика. Белая, как пожилая русалка. Тело как у осетрины. Свежее, упругое, чуть желтоватое от нежного жира. Спина и бока в складочку. Ноги – как у жирненькой пионерки лет пятнадцати, уже вступившей в половую зрелость. Антонина опять исчезает.

Выбегает в одном облике – длинной плиссированной юбке из шёлка. «Нет, что-то бабское. Слишком солидно». Выбегает в зелёных брючках цвета тропикано. «Жарко будет. Не то».

Выскакивает в коротеньком приталенном платье выше колен. «Ну как? Хорошо?» Я смотрю изумлённо. Голубые глаза её широко распахнуты – наивно так, мило. Стрелки накрашенных ресниц цветочно загнуты. Солнечные волосы так прекрасно гармонируют с белой свежей кожей, чуть розовой. Возраст и жировые складочки куда-то исчезают, шёлковое платьице озорной девчонки, еле сдерживающее напряжение в боках, кажется вполне уместным. Почему бы нет? Так мило! Так задорно! Озорная бабчонка в коротенькой юбчонке!

Антонина что-то замечает в моих глазах. «Нет, не то! Слишком коротко. Всё-таки в собес иду...»

Выбегает через минуту в чём-то новом, ещё не продемонстрированном. Комбинезон, переходящий плавно в комбидресс. Короткие шорты, розовые, с очаровательными бабочками – к ним сверху пришита футболка в обтяжку, с треугольным глубоким вырезом на спине, зелёная, с цветочками. Символ лета! Боже, как ей идут эти нежные сочетания и оттенки! Она просит помочь ей застегнуть молнию – от копчика до выреза на спине. Я с радостью подбегаю. С ужасом смотрю на предстоящую мне задачу. Комбинезончик явно не по размеру. Кажется, белую капроновую молнию не застегнуть ни за что. Не выдержит напора. Сломается ещё в начале пути. Антонина настойчиво требует: «Застёгивай!». «Застегну то застегну», – говорю

я, вся вспотев от напряжения, стягивая её бока изо всех сил, даже чуть ли не нажимая коленом ей на зад, чтобы сбавить напряжение телес под молнией. «Застегну-то, застегну, а вдруг на улице разойдётся! Или, ещё хуже – прямо в собесе!». «Ничего, не разойдётся. Я в нём уже выходила. Сдавливай сильнее».

Наконец, молния побеждена. Её приоткрытая в улыбочивом оскале пасть сомкнута. «Ну как?», – спрашивает экипированная красавица, отбежав на пару шагов назад, чтобы было видно её всю, с ног до головы.

Жирная девочка лет пятидесяти смотрит на меня широко распахнутыми голубыми глазами. Шорты чуть колеблются, подобно крыльям бабочек, над белыми пухлыми коленями. Такие же бабочки порхают вокруг плеч. Всё остальное плотно облегает сардельку тела. Попа сильно обтянута, между ногами – из-за обтянутости – видны все складочки и ложбинки. Инвалид и ветеран труда (можно догадаться с трёх раз, какого) собралась выпрашивать пособие у чиновницы, строгой дамы примерно её же лет. Лето пришло к вам, грустная осень! Некоторые сомнения одолевают меня, не скрою. Антонина вертится передо мной. «Посмотри вот так. А сбоку? А со спины? Ну как? Ничего? Не слишком ли коротко? Не слишком в обтяжку? Не вызывающе? Нет, ты правду скажи! Как тебе?» Я, в шоке, пристально осматриваю её. Очень мило. Очень. Франция. Лето в Ницце. Очень идёт! Совершенно искренне говорю. «Всё нормально! Можно идти в собес!». «Нет, ты внимательно посмотри», – натаивает чаровница. Чем внимательнее я смотрю, тем искреннее говорю: «Да! А что? Очень мило. Вполне», как бы ослеплённая и парализованная её артистизмом, сочетанием свежих красок, экстравагантностью, которую может позволить она себе, как по-настоящему красивая женщина.

Она уже собирается подбирать сумочку к наряду, успокоенная, но на миг задерживается в прихожей, у зеркала. Какие-то сомнения появляются у неё, когда она видит свой плотно обтянутый пионерско-пензионерский зад. Какие-то сомнения.

«Нет», – говорит она. «Что-то не то. Всё-таки, в собес иду. Надо посолидней. А то откажут... Наверняка откажут! Что же ты мне не сказала, что что-то не то!», – набрасывается она на меня возмущённо. Я смущена. Что-то происходит с моими глазами. Экстравагантная красавица начинает как бы тускнеть, терять свою соблазнительность и ауру очарования, я вдруг вижу перед собой голую, неприглядную правду – пожилую кокетку, влезшую в молодёжный наряд, зачем-то стремящаяся привлечь внимание к своим голым ляжкам и рукам. Интересно, кому это будет интересно в собесе? Может, хочет пенсионера или инвалида привлечь видом своих отцветающих, но ещё аппетитных прелестей? Какую цель преследует она? Кого хочет поиметь – даму чиновницу или посетителей? За кого её примут в собесе – можно догадаться с трёх раз.

Наконец, выходим из дома. Она – в зелёных брюках в полоску и яркой блузке цвета цветущих джунглей. Удивительно хороша. Машины на переходе бибикают нам. Одна притормаживает – в ней нам машут руками пара джентльменов, спешащих на пляж. Один постарше, другой помоложе. Может папа с сыном.

Отъезд

Я пришла домой и обомлела. Не зря Фокин с пакетами бегал. Он как-то за моей спиной договорился с матушкой моей, и вот – пустая квартира. И мамаша, и оба сына на даче на всё лето. Первый раз в жизни мамаша согласилась всё лето провести на даче с внуками, до этого всё придумывала отмазы, и лето на даче проводила я с детьми, лишённая работы, а бабушка типа нас иногда навещала. Теперь вот она соизволила, чему я очень рада.

Всюду кавардак, шкафы раскрыты, полки пусты – вещи детские вывезены. Одни игрушки осиротевшие валяются на полу. Типа меня на лето освободили от детей, чтобы я устроилась на работу. Это замечательно! Это прекрасно! Но почему всё так по-хамски, почему без меня

и за моей спиной решают мои проблемы! Курточка Артёмки! Они не взяли его курточку! И кроссовки Никитки... Если на даче будет холодно, что они оденут? А вот бейсболка Тёмы. Если будет яркое солнце – ему голову напечёт без этой бейсболки! Они изображают из себя высшую расу по сравнению со мной, настоящей матерью, а сами ничего о детях и их потребностях не знают... Носки! Да тут ужас что творится. Где пары носков – всё по одному. Это мамаша сослепу так насобираала носки в отъезд. Ну почему нельзя было по-человечески, заранее сказать, когда и что, я бы всё собрала как надо... Ну ладно, отвезу всё на своей спине в рюкзаке. Аки ослица.

По квартире бегают наш кот, которого на дачу не взяли и который встревожен кавардаком. Я обнимаю кота. Ну что, свобода! Первый раз за 10 лет мне дали передышку от детей и возможность найти работу. Правда, сейчас лето...

Посещение китайского ресторана

-Анька! Пошли завтра на выставку Тонино Гуэрро! – звонит мне Ася Шемшакова.

-Здорово! Как давно я не была на выставке какой-нибудь!

После всего пиршества, чёрного и жёлтого вина в бокалах, этого джазового трио, этого длинного юноши, меланхолично теребящего мужскую струну своего контрабаса где-то на уровне своих гениталиев, после всей этой жаркой, душной, великолепной, гудящей как шмель тусовки, к нам с Асей примыкает, увы, не мужик, а такая же, как мы, одинокая девушка, мать двоих детей, Ирка.

Исаакий дымной голубиной горой, олицетворяющий собой весь чувственный диапазон Петербурга, вздыбился по левую сторону и ушёл назад, в небесной дымке и человеческом дыму.

Все втроём вдруг мы вдруг ощутили страшную жажду, одновременно и ужасный голод. Халявное вино что-то разбередило, какую-то сдерживающую струну. Хотелось продолжения банкета. Ася возбуждённо стала предлагать нам посетить китайский ресторан. Это была её давняя идея фикс.

Когда-то, три года назад, в китайский ресторан её сводил немецкий профессор, друг её отца. Асю потрясло количество еды, выложенной на тарелку за небольшую, доступную цену добрыми китайцами. Запечённая рыба в виде фрегата была так велика, вкусна и сытна, так калорийна, что одной порции хватило на двоих, и было даже чрезмерно, она и экономный профессор съели одну порцию, растаскивая её вилками с одной тарелки, как в деревне. Ася утверждала, что такой порции хватит и на троих.

Наконец, мы подошли к красным шарам. Ресторан был стерильно пуст от посетителей, даже, казалось, что голоса наши создают эхо. Будто в пещеру вошли – полумрак, прохлада, непо потревоженная пыльца веков. В полу проложена речушка с настоящей водой. На дне её раскорячился дохлый краб. Мостик с фонариками. Дешёвая позолота на стенах.

Всё изменилось. Цены оказались ужасным. Втроём на 100 рублей поесть никак не вышло. У китайской официантки бровь презрительно дёргалась. Она про нас уже всё поняла. Но наше появление в ресторане вызвало лёгкое волнение и пробудило волну любопытства. На нас поглядеть вышла сначала одна китайка, потом мужчина-китаец в европейском костюме, потом повар-китаец, потом китайское дитя лет пяти. Они смотрели на нас, мы рассматривали их с одинаковым недоумением.

Мы сошлись на одном чайнике зелёного чая и двух порциях золотистых китайских пампушек. Последнее пробуждало в душе какие-то надежды на что-то необычайно приятное – типа русских пончиков в сахарной пудре, но, возможно, пудра подкрашена в золотистый цвет при помощи какого-нибудь экзотического растительного красителя...

Увы нам, увы. Нам принесли настоящий китайский чайник, но он был мал, и уголок его крышки был отбит. Золотистые китайские пампушки оказались по виду как надрезанные звёздочкой яблоки – в результате такого фигурного баловства специальным ножичком из одного яблока делают два и выкладывают на блюдо где-нибудь на свадебном столе. Потом можно обратно яблоко сложить – о разрезе говорит только зигзагообразная линия на боку. Но это не были яблоки. Это была булка, простая дешёвая булка без всяких там вкусовых добавок и излишеств, запечённая в духовке до золотистого оттенка. В китайскую пампушку эту булку превратила работа китайского резчика по булке, сумевшего выпилить из столового батона за 6 рублей пару шаров, а потом ещё эти шары разделившего резной линией надвое. В результате батон нам предлагался уже за 60 рублей. Хитрая китайщина, которую мы насквозь видим. Но стесняемся сказать...

Чай представлял собой ужасный крутой кипяток бледного искусственного оттенка и по запаху примерно как жасминовое дешёвое мыло. Я налила в крошечную чашечку чай, выделявший пар как в бане, наклонилась, чтобы отпить из этого почти напёрстка, но вдруг случилась неприятность. Чашка оказалась столь неудобной, что при попытке отпить из неё мой европейский нос опередил мои губы и попал в жгучий кипяток. Я вскрикнула – боль была такая, будто в чашке сидела пчела и больно-пребольно укусила меня за кончик носа. Ася и Ира посмотрели на меня недоумённо. Мне было стыдно, что у меня такой длинный европейский нос. Я покраснела и обмахивала укушенный китайским чаем нос руками.

– Хорошо, что не глаз. Хорошо, что не глазом в чай попала. А то он непременно бы вытек.

Девушки захихикали. Мы как бы опьянели без вина и разошлись не на шутку. Китайцы разных полов и возрастов вновь вышли поглазеть на нас. Мы разухарились, попросили, чтобы в китайском ресторане нам включили запись с настоящей китайской музыкой, а не европейской, которая была ни к селу, ни к городу. Китаец в европейском брючном костюме обиделся, сказал, что у них нет китайской музыки, но через десять минут всё-таки что-то этакое включил – нудное, леденящее кровь, как песни Толкуновой или Сенчиной времён моего детства. Но на китайском языке.

Вообще, китайцы посматривали на нас довольно таки злобно. Мы ржали и веселились, перча китайские пампушки и пытаясь их съесть.

Ася всю дорогу, причмокивая, вспоминала о китайской рыбе, которую нам так и довелось отведать. Потом её воспоминания перешли на старого немецкого профессора, который после той рыбы удивительно по-молодому поймел её, а отец, узнав о поступке своего друга, сильно на него обиделся. Так обиделся, что от этого умер. У Аси часто её рассказы кончались смертью её отца. Версии были разные. Ещё одним вариантом была Перестройка. Что папа был физиком, работал в КБ, но вот КБ уничтожили, он остался без работы, заболел и умер. Вместе с ним заболел его друг, тоже физик, работавший в НИИ, который тоже закрыли. И вот два друга сначала вместе с коммунистами бегали на демонстрации и митинги против Ельцина и Горбачёва, а потом долго болели, перезванивались, и умерли в один день. Вообще, причины, приведшие отца Аси к кончине, были в рассказах Аси многообразны, но часто сводились к каким-то Асиным прегрешениям, которых отец не вынес...

По дороге Ася добавила нам ещё ярких красок к образу поимевшего её старого немецкого профессора. На «Лебедином озере» он сидел с Асей в первом ряду и ужасно громко пердел, перекрывая звуком топот маленьких лебедей. Ася краснела от стыда, так как соседи по ряду с подозрением именно на неё смотрели...

В доме Набокова

На следующий день я пошла в музей-квартиру Набокова, пытаться устроиться хоть кем-то на работу – по специальности своей. Угораздило же выучиться на искусствоведа, а не на химика, например. Кой кто на выставке Тонино Гуэрры мне подсказал, что тут есть вакансия.

Сижу я в столовой, где кушал свой бульон в детстве Владимир Набоков. Смотрю на коричневый, весь в растениях и листьях, деревянный потолок, который видел Набоков. Смотрю в окно, вижу всё то, что видел Набоков в детстве. Напротив, между окнами четвёртого этажа, из углублённых кругов слоновьего цвета, смотрят на меня две одинаковые головки в витиеватых раскудриях, тоже слоновьего, серо-зелёного цвета. Симметрично украшают стену, отмечая доминанту центра здания. У них аристократические лица, лица женщин или юношей, которых следует любить и о которых следует мечтать богатому аристократическому ребёнку, живущему в начале XX столетия. Изнеженные до изнеможенья, одухотворённые, впитавшие своими корнями все лики и эталоны красоты европейской культуры, капризные, способные впасть в сплин и хмару, вплоть до красивого безумия, за которым хладно будет наблюдать оставшееся нетронутым, ироничное, презрительно не способное ни на что, кроме спокойного наблюдения, сознание. Сколько раз взирал на них маленький Набоков, скучно ковыряя в тарелке, о чём он думал, рассматривая их нежные невысокие лбы с горизонтальной ложбинкой, дающие цветение пышной растительности на голове, уложенной скульптором прекрасными спиралями и завитками. О чём думал он, скользя глазами по их печальной, несколько иудейской красоте, по их нежным носам, выразительным, тонко и прекрасно прочерченным ртам, надменным и не отказавшимся бы от любви. Какие милые духи детства заглядывали в окна круглосуточно, наводя на мысль о высокой планке в жизни, намекающие на надменный путь, не лишённый тяги к земной чувственной любви...

Вполне возможно, что в доме напротив в огромной десятикомнатной квартире жила моя прабабушка, дочь генерала...

В пустынную столовую Набоковых, лишённую ныне всякой пищевой привлекательности, заходит уборщица со шваброй. Высокая, интеллигентного вида женщина с аристократическим лицом, слегка, как бы стыдливо согнувшись, моет шваброй пол. Из кабинета директора вышла секретарша, чья речь и лицо выдавали простое происхождение. Она, пожалуй, могла бы быть потомком семьи повара Набоковых, проживавшего в этом же доме в полуподвальном помещении. Директор музея подняла на меня свои изумлённые глаза, что как так я откуда-то пришла, хоть диплом есть, есть и рабочий стаж по профессии. Но... И, конечно, на работу меня не взяли. Сказали, что есть только вакансия уборщицы, ибо нынешняя собралась в декрет, аристократической красоты детишек рожать.

Я отказалась. Не смогла смирить гордыню свою.

Паломница

Я открыла утром глаза, и поняла, что не хочу жить. За окном пела берёза в лучах восхода, листья у неё вылезли и распространились, но во мне не было сока, чтобы распуститься в этот июнь.

Дети были увезены на дачу, первый раз за десять лет мне дали свободу. Крыша поехала моя. Кругом была пустота и свобода, равномерно неизведанная, и никакой голос не звал меня ниоткуда и никуда. Я не вынесла тяжести свободы. Ася рассказала мне о мужике одном, который всю жизнь сидел в тюрьме, и вот его выпустили на волю, и он через день повесился – не вынес свободы, которую так вождделел. Не справился с ней...

Толпа выкинула меня из метро на Балтийский вокзал. На обочине круглой площади стоял автобус «Русский паломник». В нём оставалось ровно одно место. На него никто не претендовал. Из зада автобуса вырывалась струя газов. Автобус рвался в бой, как богатырский застоявшийся конь. Дверцы захлопнулись за мной, мы двинулись в путь – в мужской монастырь на Валдайской возвышенности.

Оделась я соответственно миссии: в длинную чёрную юбку в белый горошек, сиреневый вдовий пиджак, на голову накинула газовый шарф. Вечером накануне я перерыла весь шкаф, пытаюсь соорудить себе правильное православное одеяние и не выглядеть при этом очень уж нелепой. Подумала, что пока нахожусь не в стае ангелов, а пред очами людей, не стоит у последних вызывать отвращение, скорбь и уныние убожеством своей оболочки.

Паломники были дамы и мужчины средних лет, уже не до середины жизни дошедшие, а чуть больше, когда все грехи нераскаянные высунули свои жала в судьбах как колья. Все они были без грима и без прикрас, как бы готовые попасть под рентгеновские Божьи лучи, которые безразличны к внешней шелухе.

Мы ехали по шоссе, и я впервые вдруг увидела Россию. Я так давно нигде не бывала... Я увидела заросшие кустом поля, разрушенные заводы и фермы, покинутые дома, будто война прошла. Фашист проклятый столько не сделал, сколько сделал Перестройка. Советский безбожный народ сам себя порушил, свои заводы, поля и жилища, своими же руками под взглядом какой-то зарубежной крысы, объяснившей, что мы все недолюди пред их западными великими достижениями.

И монастырь был разрушенный то ли большевиками, то ли хрущёвской задорной богорборческой оттепелью, учившей людей петь и смеяться свободно, но с прицелом на коммунизм.

Я вдруг почувствовала себя такой овцой павшей, такой трепетной овцой пред Очами Божьими, так вся дрожала от изумления и священного трепета, «страха Божьего», стоя в восстанавливаемом обгорелом храме с полами, наспех покрытыми линолеумом. Монахи поразили меня. Это были лучшие люди земли, теин в чаю, соль. В них не было ни суеты душевной, ни вихляний, ни раздрызганности и сомнений. В них не было истерики, ни страха смерти, изыскляющего и искривляющего душу атеиста, ни гамлетовского «быть или не быть». Это были русские мужики, пронизанные солнечной энергией вертикали и неба, это была радостная мужская сталь. Они скинули с себя, как собаки скидывают, линялую грязную шерсть, или как голуби скидывают старые грязные перья, – всякую земную суетную дребедень, они остались как голые чистые соколы. Пред их выкристаллизованной до платины веры было неудобно за свои страстишки, попытки устройства своей биологической массы по-уютному. Но кто-то же должен продолжать дело жизни. Чтобы Богу-Творцу было, с какими своими творениями играть и наслаждаться ими, без продолжения жизни ведь скука настанет для Творца. Я же пою хвалу творениям Господа как могу – не молитвой и постом, но радуясь линиям, цвету, гармонии формам, красоте, объясняя другим про красоту. Бог-Творец должен же радоваться, когда благо и краса пронизывают созданную Им Вселенную, и люди сами становятся проводниками красивого, подчёркивая его и создавая его, улавливая гармонии чистой радости и передавая их другим. Я не понимала слова Иоанна Кронштадтского о том, что «да зачем все эти театрики, водевильчики, оперы, музыка, картины и беллетристика! Срам один и отвод народа от Господа». Суров был батюшка. Не всем же дано соколами быть, надо и воробушкам как-то к вере приходиться и как-то по мелким силам своим радоваться творениям Божиим чрез их красоту... Красота же тоже к Богу ведёт!

Я не роптала и ничего не просила. Просто трепетала в храме, как никогда ещё не трепетала. Старец-монах вдруг высмотрел меня в толпе прихожан своими молодыми, смеющимися, светящимися солнцем и небом глазами. Он сказал другому монаху: «Какая импозантная паломница!», и он с чувством радости благословил меня, и я в первый раз в жизни поцеловала человеку руку. И сломала в себе гордынного своего демона, который вспух, когда я росла на

фильмах, в которых одичавшие люди коряво писали «мы не рабы, рабы не мы». Мне так понравилось поклониться старцу, склонить свою голову в женском платке к его руке, прижаться на миг губами к его горячей, сухой, похожей на ветвь старого дерева руке. Я бы и ноги ему поцеловала. Кто была я, и кто был он!

До этого была служба ночная, и я чуть не падала на стены от боли в спине, от непривычного струнного стояния перед иконостасом. И все паломники и прихожане легко стояли, я же делала мучительные усилия, чтобы быть тут как все. И меня поразили монахи, старые и молодые, тоненькие и плотные, которые стояли легко, сосредоточенно, возвышенно радостно. Их души так легко переходили к небесному регистру, а я была как в землю вклеенная.

И у меня началась новая жизнь после поцелуя старческой, протянутой ко мне руки. Снаружи всё было как прежде: ужас одиночества, отчаяние, неверие, невидение направляющих лучей и тяг. Но внутри словно озарение пронзило меня, и что-то невыразимое словами изменилось вокруг. Движение пошло в затхлом мирке.

Часть 2.

Вениамин

Ещё одна подружка – Тина

Тина Подгорская пришла ко мне всё такая же, длинная блондинка с античным профилем, немного толстоватым, с пальчиками, каждый из которых был как капризная игра изящества. Тина была моя давняя подружка. В 18 лет она напоминала средневекового ангела во плоти, вся вытянутая, с волнистыми волосами, носиком и ртом как у мраморных статуй. Ныне она свою статую пыталась приспособить к моде из журналов «Вог» и «Космополитен», нагоняя на себя вид топ-модели. Её любимым занятием было присматривать за подругами, не выбился ли кто из них в люди выше, чем она. Пока удалось выбиться лишь одной подружке Алиске, которая стала любовницей женатого мужика, умудрившегося за миллион баксов продать крейсер и на эти деньги купившего Алиске квартиру на Невском, плюс другие штучки...

А когда-то она училась на инженера в авиационном институте, и вообще она как-то вся связана с лётной темой. Первый жених Тинки был одноклассник Витя. Влюбился в Тинку до безумия. В компании на встрече с одноклассниками Тинка стала измываться над ним, дразнить его, проверяя на геройство во имя любви к ней, Тине Подгорской. И Витя влез на перила лоджии на 11 этаже, и сделал шаг в небо. Одноклассники успели ухватить его за штанину. Витя шлёпнулся на цементный пол лоджии, на брюках растеклось мокрое пятно. «Весь обмочился, бедняжка! Ха, зато преодолел страх высоты!» – хвасталась Тинка. «Пошёл в лётное училище, лётчиком гражданской авиации стал. Сейчас в нищете живёт. Не платят им там нифига», – рассказывала Тина, посмеиваясь.

Мы пялились в мой новый старый компьютер, в секунд-хэнд мой с толстым ящиком монитора и цветным экранчиком. Тина сидела скромно у края стола, на который взгромоздилось это новое скоростное чудо. Недаром мне сон приснился в ту ночь – как авиалайнер прекрасный взмывает в небеса.

Тине нужен был мой диковинный тогда Интернет, и я была единственным человеком из её окружения, кто стал обладателем этого чуда дивного, этого зеркала сказочного, в которое чего захочешь, то и увидишь из того, что под Солнцем где деется. И Тина хотела послать ответ жениху своему, миллионеру из штата Невада, который разыскал её через какие-то брачные мировые агентства, нашёл из миллиарда баб на земле красотку себе по вкусу. Хотел вот теперь получить от неё весть и встретиться с ней живыми телами.

–Тина, а как же твой Лебедев, вы же с ним уже лет 15 живёте типа как муж и жена? – спросила я.

–Знаешь, Анька, меня так достала нищета. Я ничего, ничего не хочу. Ни любви, ни славы, ни успехов. Ни Лебедева. Одного хочу: ДЕНЕГ! Только они дадут мне настоящую свободу. Будут деньги, будет всё: и любовь, и творчество, и наша с тобой и галерея, и отель, и журнал, и бутики, и мужики пойдут настоящие, не то, что неудачник Лебедев.

–Да не такой уж он неудачник! У вас вот свой мерседес есть...

–Да на фиг нужен мне этот мерседес, одно название, старая калоша. Квартиры нет у Лебедева, и никогда не будет, с мамой в коммуналке живёт. А мерседес скоро развалится.

Летний вечерок

И вместе с Тиной пришёл ко мне в тот день Вениамин, давний мой знакомый, которого я 10 лет не видела. Всплыл он внезапно. И вот Тина вошла, а рядом с моим столом уже сидел Вениамин, с длинными светлыми волосиками своими, такой скромный и невзрачный, обесцвеченный и исчезающий весь. Он только что что-то мне наладил, и раздавалось вожаделенное шипение в проводах, это Интернет заработал, ура! Меня охватило ощущение дикой радости, что связь с миром пошла, что свобода добиваться желаемого усилилась.

Вениамин даже и головы не повернул в сторону Тины. Он был весь там – за экраном лупоглазым, он там что-то шарил и выискивал в каких-то выпрыгивающих синих буковках и циферках. Тина тоже Вениамина не сразу заметила.

Она сказала: «Нет ли у тебя выпить в доме? Замёрзла я, пока к тебе шла. Лучше не чаю выпить, а покрепче. Я с собой принесла. На, открой бутылку!». Я ей подмигнула, и мы вышли на кухню.

–А подружку свою позови! Пусть с нами выпьет! – сказала мне Тина Подгорская.

–Какую подружку?

–А вот ту, что в комп уставилась, беленькую, с волосиками длинными.

–Да это ж не подружка! Это знакомый компьютерщик, он пришёл в моём железе пошоркаться, починить там что-то, а то вечно зависает.

–Ну, так позови его! Пусть с нами выпьет! – так сказала Тина.

Мы заглянули из кухни в комнату. Вениамин сидел, весь поглощённый всякими процессами в компе, он даже на наш шорох не обернулся.

–А ну его! Давай одни бутылку разопьём!

–Да неудобно, всё же живой человек, хотя и очень увлечённый. Чрезмерно.

–Уверяю тебя, он даже не заметит, что мы тут делаем. Он такой... Ну, настоящий компьютерщик. Он, наверное, не то, что бутылку, он и тебя не заметил, что ты пришла. И что я тут есть – он этого тоже во внимание не берёт. Математик, блин. Компьютерный придаток.

–Нет, всё же неудобно как-то. Надо позвать.

–Веня! Немотаев! Налить тебе рюмашку вина хорошего? – спросила я молодого человека.

Тот неказисто рывком обернулся, зажестикублировал напряжисто, потом сказал, что не откажется.

Мы ему плеснули немного на дно бокала, он с нами неловко чокнулся и тут же потерял к нам всякий интерес, уткнулся в экран. Мы взяли бокалы и улизнули на кухню за закрытую дверь.

–Как твои пацаны?

–На даче. Я вот неделю уже одна в квартире. Мне, если честно, просто плохо физически и душевно. Я привыкла каждый день как белка в колесе быть придатком при детях. Я уже умерла вся. Всё человечье во мне умерло. Я как механизм какой-то бытовой. В-общем, жизнь моя, иль ты приснилась мне? Моя мамаша взяла детей на дачу на лето, и Фокин сказал, что где дети, там и деньги. Мамаша рада, теперь типа она жена Фокина, и мои дети – это их дети. Наконец, ей удалось сделать по-своему шучьему хотению. Меня из жизни вытеснить, влезть на моё место и типа омолодиться. Не зря она Фокина к себе в каморку заманивала, блинчики там ему подсовывала на кровати своей, ворковала там с ним. Доворковались до полного маразма. Детей жалко, одичают они с ней на даче. Она же ненавидит любые формы интеллекта, развивающих занятий. Зоя Игнатьевна моя – она же порождение завода, люди для неё что детали. Сунула в рот плюшку три раза в день – вот и весь механизм. Мне деньги нужны, в три раза больше, чем одинокому человеку. Чтобы на дачу ездить, детям фрукты возить, котлетки натуральные. Переживаю я.

–Подай на алименты! Не имеет права твоя мамаша тебя от детей отгонять!

–Фокин сказал, что если подам на алименты, он сделает справку, что получает в месяц 1000 рублей. И всё. Мои будут 300. А мамаша сказала мне, что если я потребую алиментов, она сдаст меня в дурдом, и Фокин подтвердит, что я невменяемая и ужасная мать, и что они добьются лишения меня родительских прав.

–Какие твари жуткие! Борись с ними!

–Судиться? Доказывать, что я вменяемая? Что я отличная мать, что дети ухожены, сыты, ходят в музеи и парки, ездят на лыжах кататься зимой? Доказывать очевидное, но отрицаемое Зоей моей Игнатьевной? Какое позорище для семьи! Правильная есть русская пословица – не выноси сор из избы. Лучше терпеть всю эту гадость буду. Ко мне тётка одна, из соседнего подъезда, во дворе подошла и донесла мне всё. Говорит, что моя мать на меня мерзости наговаривала в поликлинике. Я ей поверила, тётке этой. Это в стиле моей мамаша. Она в школе на меня наговаривала, она даже в институт умудрилась припереться в деканат и там стала про меня чушь всякую рассказывать секретарю, типа «повлияйте на неё». Я тогда хотела перевестись на другой факультет... И тогда мне однокурсница сказала: «Присмири свою мать, она тебя позорит. Она сумасшедшая у тебя. Да и ты такая же, как она, раз разрешаешь ей такой срам устраивать». Ну и как её присмирить, если она от одиночества одичала? Убить, что ли? Слов она не понимает, сразу начинает шипеть, язвить и злорадствовать. Мне Антонина советовала её в сумасшедший дом сдать. Ха. Представляю, приезжают санитары, и моя мамаша начинает красноречиво говорить, что не она, а я сумасшедшая, и она же переговорит меня...

–И чего она от тебя хочет?

–Крови моей пососать, чтобы румянец у неё поалее стал. Больше ничего ей не надо от меня: ни денег, ни подарков, ни послушания и почтения, ни внимания и бесед. Чем больше высказываешь почтение, тем более по-хамски она отвечает, дразнится, то молчит угрюмо, то раздражается и швыряется. Даришь что-нибудь, так она от ярости аж до потолка прыгает, покрывая грязью то, что ей подарили. Правда, бывает, потом потихоньку подарком, пледом каким-нибудь, кофточкой начинает пользоваться, после того как затопчет и проклянет подарок. Её словно чёрт укусил, такая неадекватная, хамская реакция отторжения у неё на всё. Я все методы перепробовала. И сил у меня нет к ней ключик найти.

–Ужас! Слава Богу, у меня хоть мамаша нормальная! – бормочет под нос Тина Подгорская, и щёки её разгораются от вина цветом кирпичного загара. Что очень красиво оттеняет её локоны оттенка «солнечный блондин».

–Да твоя мама – ангел интеллигентный!

Мы с Тиной захмелели, весь мир покрылся приятным туманчиком. Вениамин копошился в компьютерной восемнадцатизильной косе, за окном стояло то ли лето, то ли не лето, непонятно что там стояло, дом там стоял напротив хрущёвский, а между нами берёза несколько чахлая росла с листочками сероватыми то ли в белой ночи, то ли в пасмурности какой-то. Впрочем, за окном была свобода, в квартире была свобода такая тяжкая, что не переварить, вот и подруга пришла ко мне с бутылкой. Диво дивное! Такое при мамаше не позволительно было бы, она бы побежала подружкам шипеть ядовито и долго по телефону, жаловаться на меня детям: «Вот, Никита, мамочка твоя алкоголичка, ишь, полбутылки, полбутылки, слышишь, выпила, ишь какая мама-то у тебя, мальчик ты мой дорогой, нехорошая, падшая она у тебя, крохотулек ты мой! А уж ты, Тёмушка, малёк совсем такие ужасы видеть!».

Мы с Тиной пили и обсуждали, где найти мужчин. Нет у нас мужчин реальных. Лебедев её – он такой упырь мёртвый, такой антисекс, что вот вроде и ростом хорош, и фигурой, но ничего с ним не хочется и не может, и секс у Тины бывает раз в год после большого дымного затуманивания.

–Бедная Тина!

–Да и ты бедная! Ну, ничего, главное – чтобы моё письмо по интернету дошло до Джона. Мне в брачном бюро сказали, что он очень богатый. Только бы ответил! Тогда, Анька, заживём! Если у меня с Джоном выйдет, я тебя озолочу! Если ответит – 100 долларов минимум тебе подарю.

–Окей. Не откажусь!

–Но всё же, есть ли у тебя дуновения на личном фронте? – выпрашивает Тина.

–Полтора года уже у меня отпуск от секса с Фокиным. Я сначала с ума сходила как кошка. Но – дети мои прекрасные... Я даже и представить не могу, какого самца можно ввести в дом, чтобы всё было хорошо. Знаешь, есть такие самцы, они с ребёнком начинают соперничать. Или бывает, что начинают воспитывать и орать. Или не замечают. У меня вот Фокин в упор не видит Никиту, будто нет его. Прямо как у Керсанова. Керсанов живёт со своей Наташей уже 8 лет, сыну Наташиному уже 12! А Керсанов ни разу по имени его не назвал, будто его и нет. Ему только Наташа нужна, а сын для него – как тень какая-то или помеха, которую надо из сознания выкинуть.

–Да, гадость!

–И столько эмоций у меня было с Фокиным, когда он к другой бабе ушёл, что я как выпотрошенная вся. Во мне словно поселилась ледяная пустота. Я как отморозенная вся. И никого на горизонте нет.

–А этот, ну, как его, Вениамин этот! И имя такое у него!

–Ну, ты же его видела – это не парень, это девочка какая-то. Ему нужно только компьютерное железо. Он нас с тобой даже не замечает, не отличит одну от другой.

–Давай я ещё за бутылкой схожу!

–Сходи!

...В тот вечер мы с Тинкой Подгорской сильно нализались. Позвали Асю, и она с нами нализалась. И соседку Антонину позвали мою – но она не пьёт, она даже не зашла, осталась копошиться у себя дома, гвоздики по пластиковым бутылкам раскладывать. Потом я играла громко на пианино, Вениамин пел арии из опер, Тина уснула в детской кровати Тимоши, Аська на кухне стала долго и въедливо беседовать с Вениамином, я тоже заснула на мамашиней тахте, увеличенной десятью слоями старых одеял, прокладок каких-то, ватинов, платков оренбургских пуховых.

В 5 утра я вышла на кухню. Там, в лучах восходящего летнего солнца Вениамин вёл умную беседу с Асей о Замятине, о Лакане, о Троцком, о Севе Новгородцеве, о радио «Свобода».

Потом Вениамин ушёл, Тина проснулась, а Ася Шемшакова сказала: «Какой он умный! Я преклоняюсь перед ним! У него такой лоб большой, как у дельфина! И глаза впалые! Он столько всего знает! Столько всего читал! Я потрясена! Он говорил и говорил всю ночь, а я его слушала и слушала, слушала и слушала...».

–А я вот люблю людей не столько начитанных, сколько таких, с которыми можно в диалог вступить. Чтобы было совместное обсуждение темы. Аналитикой заниматься. Чтобы докопаться до истины, – сказала Тина, потягиваясь и распрямляя помятое от неудобного сна лица.

–Истина – конвенциональна. Нет никакой истины! Сколько людей, столько и истин! – сказала Ася, взбудоражено курия в открытое окно и стряхивая пепел в форточки нижних этажей. – Главное – текст! Умение производить текст больше всего ценю я в людях!

–Да, он очень милый, – сказала я тогда. – Только я проспала весь его ум. Но я тебе, Ася, верю.

–Кстати, у тебя есть его телефон?

–Да, он мне оставил. Но он живёт в ужасной коммуналке. Там 20 комнат, человек 50 живёт, к телефону если кто позовёт – так хорошо, а может никто и не позвать.

–Ну, ты мне всё равно дай-ка его телефон.

–Бери, не жалко!

Потом я осталась одна. Я помахала руками и ногами. Заглянула в кошелёк – 100 рублей. И всё. Ещё 100 рублей придёт на книжку 25 числа. Что делать? Как жить? Я заглянула в кухонный шкаф. Ага, жить можно. Три пачки геркулеса. Пол пачки риса. Лук репчатый. Килограмм примерно. Замороженная морковка нарубленная в морозилке. Кофе банка. Чай есть. Сухари запылённые, завалившиеся. Много солёных огурцов в банках. Много варенья засахаренного. Жить будем! С голоду не умрём! По сути, еда то есть. Вот была бы блокада – так это целый пир!

Я открыла свой шкаф и стала примерять всякие одежды. С одеждой не того. В половину одежд после 10 лет домохозяйства я уже не влезаю. То, во что влезаю... да... белые штаны в чёрную дрипочку. Чёрная кофта. Легенсы розовые. Куртка безразмерная, страшная, грязно-оранжевого оттенка. Синий пиджачок, еле застёгивается на одну пуговицу на раскисшем животе. Страшная вся. Морда серого оттенка. Волосы цвета унылого заката. Ну, это покрасить можно, ага, краска «лиловый каштан» завалилась.

Вдруг я вспомнила про Асю...

–А знаешь, что он мне сказал? – говорит Шемшакова про Немотаева.

–Что?

–Он сказал, что он хотел бы жениться на юной красивой девушке, чистой девушке, обязательно девственнице.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.